

И
Л

И
Л

Урсула Ле Гуин

Порог

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Урсула Ле Гуин - Порог





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ursula Le Guin

Threshold

Урсула Ле Гуин

Порог

Роман

*Перевод с английского
И. Тогоевой*

Предисловие Вл. Гакова

Москва
«Известия»
1989

И (Амер)
Л 33

Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов

Редактор Т. Иванова

Рецензент А. Стругацкий

Обложка художника А. Махова

© Ursula K. Le Guin, 1980

© Оформление, предисловие, перевод на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1989

«Суть всякого воображения — правда»

Как пишутся предисловия к сказкам, я себе не представляю.

Кажется, сам сказочный мир, удерживающая его особая магия, лишенная рациональной законченности, должны восстать против любых попыток анализа. Просто обязаны ополчиться на малейшее проявление ученого педантизма с его вечным стремлением все разложить по полочкам. Мир сказки весь соткан из какого-то бестелесного, воздушного материала, имя которому — желанное, несбыточное, и достаточно одного неверного взмаха руки, мудреного слова из литературоведческой диссертации, как очарование рухнет, невидимая паутина порвется, скукожится, а освещавший весь этот мир внутренний свет разом потухнет.

И человек снова останется один на один с унылой повседневностью, из которой — вещной, плотной, больно ранящей — его почти было выдернула рука доброго гения-сказочника.

И совсем неведомо мне, какими словами предварять сказку не традиционно фольклорную, а современную, интеллектуальную, написанную для взрослых философскую притчу, где граница между давяще обыденным и невесомым, унылым и возвышенным вообще едва различима. Где не заметишь, как неожиданно для себя перейдешь невидимый Порог, за которым раскинулась страна неосуществленных желаний, мир высокой героики и затаенной мечты.

Персонажи повести, которую вы держите в руках, свой Порог нашли и переступили. Подобно жителям Зурбагана и Лисса, или тому французскому военному летчику, что повстречал в знойной африканской пустыне Маленького Принца, или даже недавнему нашему знакомцу — «демону на договоре», а по совместительству альтисту. Подоб-

но всем им и многим другим героям современной сказки, они просто взяли и вошли в страну, не помеченную ни на каких картах, хотя дорогу туда легко найдет всякий, кто в наш рациональный век не утратил способности мечтать о несбыточном.

Вам предстоит путешествие, долгая дорога, Путь.

Вы можете принять нарисованный фантазией автора мир буквально, и тогда завораживающее слово поведет вас по всем его закоулкам и тайным тропам, и достанется вам испытать все, что отмерено героям: приключения и любовь, обретения и неизбежные на пути к мечте утраты. Но это один Путь; есть и другой. Сделать над собой усилие и перейти Порог так, как принято у философов — с широко открытым разумом, а не только сердцем и чувствами. И тут вас поджидают приключения иного рода. «Это место существовало, и он мог туда вернуться — в эту тишину, туда, где жизнь обретала смысл, к ее истоку... И это полное спокойствие вытесняло ощущение постоянного стресса, той чудовищной спешки, когда нет времени даже спросить себя: что ты делаешь? куда идешь? какой путь выбрать и куда приведет этот путь?»

Герои всех произведений современной американской писательницы Урсулы Ле Гуин держат свой Путь. «Истинный путь — всегда возвращение», — сказано в одной из ее лучших книг, романе «Обездоленные». К этой истине она с удивительным упорством подводит каждого из своих персонажей; им только кажется, что они без удержу стремятся вперед, к вершинам, — на самом деле им обязательно предстоит обратный путь, к истокам. Повесть «Порог» (а в первом издании она называлась «Исток») в этом смысле не представляет исключения.

Читателя, наслышанного о творчестве Урсулы Ле Гуин, данная книга, быть может, вначале удивит. Это Ле Гуин, и... не она, по крайней мере какая-то новая, странная, совсем не похожая на ту, о которой, возможно, приходилось читать в обзорах и критических статьях.

Необычен прежде всего жанр, ибо имя себе Урсула Ле Гуин сделала в основном в научной фантастике, где оно у всех на слуху уже два десятилетия. Хотя лучшие ее книги, на мой взгляд, были написаны на пороге шестидесятых и семидесятых, поклонники этой литературы по сей день согласно выставляют ей высшие баллы в традиционных опросах «Лучший писатель-фантаст всех времен». Мне представляется, что знакомство нашего читателя с творчеством этого мастера пока складывалось не совсем логично и продуманно, и всякий, кому интересен творческий путь писательницы, нуждается в пусть беглом, но путеводителе.

Начался этот путь счастливо. Никаких голодных, изнуряющих лет самосозидания, не было и какой-то ожесточенной «мартин-иденской» борьбы за признание. Наоборот — культурная, интеллигентная семья, блестящее образование, первые успехи в выбранной профессии филолога, во всех отношениях удавшаяся женская судьба. И наконец, главная любовь Урсулы Ле Гуин — Литература; сначала она ворвалась в жизнь девочки всепоглощающей страстью к чтению, а потом пришло и собственное творчество.

Урсула Ле Гуин быстро нашла свою тему в научной фантастике и за несколько лет прошла путь от дебютанта до признанного мастера, автора настоящего шедевра. Им стал один из самых ярких романов американской научной фантастики 60-х годов — «Левая рука Тьмы».

Далее... Далее последовал каскад самых престижных премий в жанре научной фантастики (премии «Хьюго», «Небьюла», «Юпитер») и вне этого жанра (например, премии в области детской литературы за книги сказочной трилогии о Земноморье). Успех и признание закрепило еще одно безусловно значительное произведение — роман «Обездоленные», вышедший в 1974 году. И тут творческий путь писательницы делает крутой поворот, совершенно нетипичный для американской массовой литературы (а научная фантастика пока в основном числится по этому ведомству),

где успех на книжном рынке обычно предполагает необходимость продолжения, безоглядную коммерческую эксплуатацию счастливо найденной золотой жилы. Урсула Ле Гуин, презрев «традицию», ушла — кто бы мог подумать? — в творческие поиски, длящиеся вот уже полтора десятка лет.

О результате этих поисков можно спорить. Но как к ним ни относись, трудно не признать очевидного: сами эти поиски свидетельствуют о каком-то на редкость самостоятельном, независимом (по отношению к незыблемым, казалось бы, законам американского книжного рынка) Пути. И прежде всего — о незаурядной личности идущего, о писателе цельном, сильном, знающем себе цену и способном обойтись без оваций толпы.

Но все по порядку. Сказав, что Ле Гуин выросла в «культурной, интеллигентной семье», я отдал дань штампу и фактически ничего не сказал. Замечательная была семья, о такой в пору мечтать будущему писателю! Крёбер — девичья фамилия Урсулы Ле Гуин — людям, знакомым с миром американской гуманитарной науки, скажет о многом. Отец — Альфред Луис Крёбер — был крупнейшим антропологом, этнографом, лингвистом, а точнее, одним из зачинателей того, что нынче именуется культурологией. Мать — Теодора Крёбер — не только оставалась коллегой и верной сотрудницей мужа во всех его научных начинаниях, но и с несомненным литературным даром сумела донести до массового читателя причудливый, яркий мир легенд и мифов американских индейцев. Достаточно открыть вышедшую на русском языке книгу Теодоры Крёбер «Иши в двух мирах», чтобы понять, откуда у будущего автора «Порога» писательские «гены».

«Блестящее образование»... Тоже сказано не ради красного словца. Колледж в Редклиффе и степень магистра по романской филологии в Колумбийском университете, поездка на стипендию Фулбрайта в Париж для продолжения образования... А там — неожиданность, все смешавшая

в жизни молодого филолога (хотя какая там неожиданность — любовь в Париже!): встреча и скорый брак с историком Шарлем Ле Гуином. Последние три десятилетия писательница ведет достаточно «оседлую» жизнь в кругу семьи (она, между прочим, мать троих детей) на Западном побережье США, в городе Портленд (штат Орегон).

Биографические данные для автора американской научной фантастики явно нетипичные: другие писатели, с совершенно иной судьбой составляли основной отряд этой литературы. Ясно, что и творчество Урсулы Ле Гуин должно было разительно отличаться от всего, к чему привык постоянный читатель этого жанра. Непривычной оказалась подчеркнутая «гуманитарность» ее творчества, общий уровень культуры. Удивлял и ярко выраженный и, да простят мне читательницы, совершенно «не женский» интеллект глубокого и самостоятельного исследователя, не подавивший, однако, истинную поэзию и превосходное чувство слова.

Первый опубликованный рассказ «Апрель в Париже» (наш читатель смог познакомиться с ним в филигранном переводе Норы Галь) сразу заставил заметить и запомнить имя автора. Было это в 1962 году.

Любопытно вот что. Прирожденный мастер короткой новеллы, Урсула Ле Гуин сочиняла их все время как бы между делом. Только в середине 70-х годов, когда один за другим вышли два сборника «всего короткого», что было ею написано — «Двенадцать румбов ветра» (1975) и «Орсинийские рассказы» (1976), — читатели и критики с изумлением обнаружили «великого неизвестного рассказчика». Но к тому времени эту сторону творчества Ле Гуин можно было рассматривать только как оправу для истинных драгоценных камней — лучших ее крупных произведений.

Первые три романа — «Мир Роканнона» (1966), «Планта изгнания» (1966) и «Город иллюзий» (1967) — связаны общей историей будущего, это восхождение к основной

книге, венчающей тетралогию,— роману «Левая рука Тьмы» (1969).

Подробный его анализ* завел бы слишком далеко в сторону, поэтому позволю себе обозначить лишь несколько приметных «вешек» на творческом пути Урсулы Ле Гуин.

Сказать лишь, что это книга о *контакте* (в научной фантастике продолжения не требуется, ясно, что речь идет о контакте с иной разумной цивилизацией), значит, ничего не сказать. О *контакте* хоть однажды написал, вероятно, всякий, кто претендует на звание писателя-фантаста. А вот поднять действительно философскую проблему Контакта рискнули немногие. Слишком долго ранняя научная фантастика предавалась эйфории по поводу легкости достижения подобного контакта (мы «их» просто завоюем... мы немедленно начнем с «ними» торговать... мы просто познакомим «их» с нашими танцами и прочими атрибутами культуры, после чего сразу наступит взаимопонимание и полное «благорастворение»...) — и неизбежно пришло со временем горькое отрезвление.

В польской фантастике впечатляющая картина того, что сулит встреча с Неизвестным, поджидающим нас среди звезд, принадлежит Станиславу Лему («Солярис»); в советской — братья Стругацкие целое поколение читателей заставили мучительно переживать драму человека, которому трудно быть богом (и пожалуй, раньше, чем позволяла обстановка, затронули тему тем — недопустимость вмешательства в чужую жизнь, чужую историю и культуру, пусть и с самыми благими намерениями). А в американской научно-фантастической литературе первой произнесла нравственное кредо Лиги Миров будущего «один человек — это весть, два — уже вторжение» Урсула Ле Гуин.

Произнесены эти слова в романе «Левая рука Тьмы». Действие его происходит на застывшей в ожидании надви-

* Первые попытки такого анализа уже проведены — см. интересную и обстоятельную статью покойного Е. Брандиса «Миры Урсулы Ле Гуин» в сборнике «Планета изгнания», М., 1980; Вл. Гаков. «Витки спирали». М., 1980.

гающегося ледника, во всех смыслах замерзшей планете Гетен, что на языке землян значит «зима». Мир этот во всех отношениях странный: причудливая эволюция привела к появлению цивилизации разумных двуполовых существ-андрогинов. Гетенианец — не мужчина и не женщина, но может, в зависимости от сложных природных циклов, «принимать облик» то мужчины, то женщины. Биологический вид, не разделенный в себе самом, лишен и внутренних противоречий, а следовательно — раздвоенности, полярных оценок в суждениях, агрессивности и многого другого, свойственного землянам и другим цивилизациям Экумена. В том числе гетенианцы лишены *Прогресса*.

Миссия землянина — Посланника Экумена на Гетене — чрезвычайна: установить *контакт* с этой странной «андрогиной» цивилизацией, даже время отсчитывающей каждый раз заново с наступления нового года. Не «дипломатические отношения» — это первым делом придет в голову читателю, воспитанному на нашем пока единственном земном историческом опыте, — а именно *контакт*. Что означает: для начала попытаться понять чуждый мир, его культуру. А затем принять его — философски, психологически, эмоционально — и в то же время ощутить себя его частью. И еще — найти на планете хоть одного настоящего друга... Только после этого Посланник от имени Экумена вправе предложить планете присоединиться к Лиге и, получив согласие, вызвать звездолет с официальной посольской миссией.

Слишком сложно? Да, и притом небезопасно. Если что-то случится с первым посланцем, на смену ему придет второй, третий, все поодиночке и без оружия; но никогда Экумен не пошлет на планету карательную экспедицию. В истории будущего по Ле Гуин Экумен не присоединяет далекие миры и не включает их в сферу влияния — с ними устанавливают *з а и м о п о н и м а н и е*. Соединяясь невидимыми его нитями, пронизывающими космическую пустоту, объединенный разум Вселенной сам развивается,

крепнет, исполняется мудрости.

Весьма точный символ, незримо витающий над страницами книг Урсулы Ле Гуин,— древний восточный знак «инь и янь». Две сопряженные в окружности «запятые», темная и светлая, противостоящие и в то же время дополняющие друг друга. Это и есть *контакт*, когда «свет — левая рука тьмы, а тьма — правая рука света»... Древняя мудрость философско-религиозного учения дао, приверженность которому писательница отнюдь не скрывает, наоборот, всячески подчеркивает, удивительным образом приобретает в ее книгах новое, «космическое» звучание.

«Дао» в переводе означает Путь, и героям Ле Гуин, как уже говорилось, предстоит пройти его сполна. Прямолинейная, без оглядки и внутренних тормозов экспансия чужда им; как герои волшебной сказки, они совершают символическое пространственное путешествие-кольцо (в отличие от «кольца жизни» — рождения, смерти и нового рождения), возвращаясь и изменив своим присутствием мир вокруг. Но и сами меняются под его воздействием.

Совершают его и Посланник Экумена на мерзлой, печально изготовившейся к гибели планете Гетен, и главный герой «Обездоленных» — «противоречивой утопии» (как гласит авторский подзаголовок).

«Обездоленные» — это и утопия-антиутопия, и политический трактат, и увлекательная научная фантастика, и, наконец, замечательный роман, соединенные в одной книге. Действие разворачивается на двух планетах-антагонистах — «главной», погрязшей в вешней роскоши и ничем не обузданной свободе предпринимательства, и на ее спутнике — суровой, безжизненной пустыне, куда за столетия до описываемых событий переселилась из «капиталистического» мира колония социальных утопистов-анархистов, провозгласивших коммуно всеобщего равенства и отсутствие частной собственности.

Из подобного замысла, схематичного в каждой детали, мог выйти памфлет, трактат, манифест — все что угодно.

А писательнице удалось, по точному и образному замечанию канадского критика Д. Сувина, «оплодотворить безжизненную утопию — вместе с ее родной сестрой-антиутопией — живыми образами, диалектической неоднозначностью, освежающим ветерком настоящего романа»!

Впрочем, так и должно быть в настоящей литературе, реалистической или фантастической — не важно. Писательница их и не разделяет, сформулировав в «Левой руке Тьмы» свое кредо: «Суть всякого воображения — правда».

Действительно, в отличие от большинства литературных утопий, населенных преимущественно «лекторами» и «гидами», мир «Обездоленных» полон живых людей. Сложных, неоднозначных характеров, ошибающихся, и ищущих, и своими помыслами и поступками «подтачивающих» строго вымеренное утопическое здание, воздвигнутое автором. Ну а когда книга начинает жить своей собственной жизнью, зачастую вступая в спор с автором, — значит, это настоящая Литература...

Герой романа, гениальный физик Шевек с планеты-коммуны наблюдает тревожные процессы, разъедающие его утопию. Чтобы лучше понять, в каких именно переменах нуждается его общество, Шевек первым из сограждан отправляется на «материнскую» планету, в мир чуждый и во многом враждебный. А потом возвращается — изменившимся, но и во многом изменившим мир, который посетил.

Ведь истинный путь — всегда возвращение... в том числе и к священным словам и идеям, благородным, некогда звавшим вперед и дававшим смысл жизни, на которые, однако, время уже успело нанести позолоту «святости», исключаяющей какую бы то ни было критику и не допускающей даже мысли об изменениях. Возвращение героя «Обездоленных» к истокам идей, сформировавших коммуны на безлюдной планете, не означает его собственного разочарования в самих этих идеях. Не поддавшись многим соблазнам общества изобилия, он возвращается в свое, аскетически суровое, с твердым намерением строить его

дальше, перестраивать, чтобы в результате сделать более человечным и развивающимся на благо человека.

Даже по меркам либеральной буржуазной интеллигенции, к которой принадлежит и Урсула Ле Гуин, роман вышел слишком «левым». Однако не совсем правомерно, на мой взгляд, характеризовать ее взгляды как левацки-анархистские, а встречались в критике и такие характеристики, хотя влияние идей Кропоткина она безусловно испытала. Ее собственный Путь осознания социальной истины непрост, он не отличается прямоотой, петляет, полон завалов и скрытых ловушек.

Удастся ли пройти по нему без видимых потерь, покажет будущее. Но одно можно констатировать на основании уже прочитанного у Урсулы Ле Гуин: какими бы противоречивыми ни были ее взгляды на общество всеобщего равенства, общество коллективистское, она относится к нему с чрезвычайной симпатией, несмотря на то, что некоторые черты его вызывают у писательницы тревогу — особенно сильно прозвучавшую в превосходных новеллах 70-х годов «Новая Атлантида», «За день до революции», «Те, кто ушли из Омеласа». Мир, более знакомый Ле Гуин, мир капиталистический она не приемлет абсолютно. Что противопоставить ему, писательница пока только ищет...

После «Левой руки Тьмы» и «Обездоленных» (а если говорить о точной хронологии, то и параллельно им) Урсула Ле Гуин написала еще несколько книг. В некоторых она совершенно порывала с историей Лиги Миров, направив свои поиски даже за границы жанра научной фантастики. Это сказочная трилогия о волшебной стране Земноморье («Мудрец из Земноморья», «Могила Атуана» и «К дальнему берегу»), о которой уже говорилось выше, и сложная философская повесть «Оселок небес», цикл полуфантастических-полуреалистических новелл о вымышленной европейской стране Орсинии и «просто» исторический роман «Малафрена». А в других — вновь попыталась вернуться к социально-философской утопии (короткая повесть «Глаз

цапли» и самый последний роман Ле Гуин, программно названный «Всегда возвращаясь домой»).

...И вот — «Порог» (1980). Роман, на первый взгляд абсолютно ничего общего не имеющий с теми произведениями, которых я бегло коснулся.

Может показаться странным, что в предисловии к конкретному произведению говорится лишь о его авторе. Но повторяю: я не знаю, как пишутся предисловия к сказкам... А кроме того, не «абсолютно» ничего общего у новой повести с уже упомянутыми, а «почти» ничего. И меру этого самого «почти» читатель, теперь познакомившийся (как мне хотелось бы думать) со своим будущим провожатым, должен определить для себя сам.

Путь один, а что вы встретите по дороге, в большой степени зависит от вас самих. Так принято в стране Литературы.

Вл. Гаков

Что это за река,
по которой течет Ганг?
Х. Л. Борхес. «Гераклит»

1

Седьмая касса! — и снова из-за спины, между кассовыми аппаратами, вдоль прилавка ползли проволочные тележки, и он разгружал их — так, что у вас, яблоки по восемьдесят пять центов за три штуки, банка ананасов ломтиками со скидкой, два литра двухпроцентного молока, семьдесят пять центов, это четыре доллара, плюс еще один, получается пять, спасибо, нет, с десяти до шести, кроме воскресенья,— и работа у него спорилась. Заведующий, кажется целиком состоящий из железных нервов и желчи, прямо наradoваться на него не мог. Другие кассиры, постарше, женатые, разговаривали о бейсболе и футболе, о закладных, о дантистах. Его они звали Родж — все, кроме Донны. Донна звала его Бак. В часы пик покупатели воспринимались им как сплошные руки, протягивающие деньги или забирающие сдачу. Когда же было поспокойнее, покупатели, главным образом пожилые мужчины и женщины, любили поговорить, причем не имело значения, что ты им отвечаешь,— они особенно и не прислушивались. В общем, работа у него действительно спорилась — в течение рабочего дня, но не дольше. Восемь часов одно и то же — два пакетика куриной лапши по шестьдесят девять центов, собачий корм со скидкой, полпинты «Дерри Уип», значит, девяносто пять и еще пять долларов — всего сорок с вас. Он возвращался пешком к себе в Дубовую Долину, обедал вместе с матерью, потом смотрел телевизор и ложился спать. Иногда он думал, что, если бы работал в магазине на той стороне шоссе, приходилось бы туго, потому что до бли-

жайшего перехода по его стороне нужно было пройти целых четыре квартала, а по той — все шесть. Однако тогда он подъехал именно к этому супермаркету, чтобы прицениться к автофургону с холодильной установкой, и увидел объявление: «Требуется кассир», которое повесили всего полчаса назад. Это было на следующий день после того, как они поселились в Дубовой Долине. Если бы это объявление не попало к нему на глаза, он, по всей вероятности, купил бы в конце концов машину и работал где-нибудь в центре, как собирался раньше. Но что за машину он мог тогда купить? Зато теперь он откладывал достаточно, чтобы со временем приобрести что-нибудь получше. Вообще-то он бы предпочел просто жить в центре и обходиться без машины, но мать в центре жить боялась. Возвращаясь домой пешком, он разглядывал машины и прикидывал, какую выберет, когда придет время. Машины не особенно его интересовали, но раз уж он оставил надежду когда-либо продолжить учебу, нужно было на что-то эти деньги истратить, а новых идей в голову ему не приходило, и по дороге домой он предавался привычным размышлениям о машине. Он уставал; целый день через его руки проходили товары и деньги, целый день, целый день одно и то же, и вот мозг его уже не воспринимал ничего иного, потому что и руки его ничего иного не касались, хотя ни товар, ни деньги в них надолго не задерживались.

Они переехали в этот город ранней весной, и в первое время, возвращаясь с работы, он видел над крышами домов небо, отливающее холодными зеленовато-лимонными тонами. А сейчас, в разгар лета, лишенные деревьев улицы даже в семь вечера были раскалены и залиты солнцем. Набирающие высоту самолеты — аэродром находился километрах в десяти к югу — с ревом взрезали густую синеву неба и тянули за собой газовые шлейфы; на детских площадках у дороги поскрипывали сломанные качели и сучали гимнастические снаряды. Район назывался Кен-

сингтонские Высоты*. Для того чтобы добраться до Дубовой Долины, он пересекал улицу Лома Линды, улицу Рэли**, Сосновый Дол, сворачивал на Кенсингтонский проспект, потом на улицу под названием Дубы Челси***. Ничего от настоящего Кенсингтона или Челси там не было — ни высот, ни долин, ни сэра Уолтера Рэли, ни дубов. Дубовая Долина была сплошь застроена двухэтажными шестиквартирными домами, выкрашенными коричневой и белой краской. Одинаковые автомобильные стоянки аккуратно отделены друг от друга газончиками с бордюром из белых камней и можжевельником. Под темно-зелеными кустами можжевельника валялись обертки от жевательной резинки, жестянки из-под соков, пластиковые бутылки — неподвластные разрушительному воздействию времени раковины и скелеты тех самых товаров, что непрерывно проходили через его руки в бакалейном отделе супермаркета. На улице Рэли и в Сосновом Доле дома были двухквартирные, а на улице Лома Линды — на одну семью, каждый со своей отдельной автостоянкой, газоном, бордюром из белого камня и можжевельником. Аккуратные тротуары — на одном уровне с проезжей частью, и весь район плоский, как тарелка. Старый город, теперь центр, когда-то построили на холмистых берегах реки, но его новые восточные и северные кварталы расплзлись по ровным и унылым полям. Настоящим *видом сверху* ему удалось полюбоваться единственный раз: когда они на машине с открытым прицепом въезжали в город с восточной стороны. Прямо перед пограничным знаком шоссе взлетело на мост-развязку, и открылся великолепный вид на окружающие город поля в золотой дымке. Поля, луга, освещен-

* Кенсингтон — фешенебельный район на юго-западе центральной части Лондона. К описываемому городу отношения не имеет. (*Здесь и далее примечания переводчика.*)

** Рэли Уолтер (ок. 1554—1618) — английский мореплаватель, организатор пиратских экспедиций, поэт, драматург, историк; один из руководителей разгрома испанской «Непобедимой Армады» (1588).

*** Челси — фешенебельный район в западной части Лондона.

ные мягким закатным солнцем, и длинные тени деревьев. Потом мелькнула фабрика красок, обращенная своим разноцветным фасадом к шоссе, и начались жилые кварталы.

Однажды жарким вечером после работы он прошел прямо через автостоянку при супермаркете и, поднявшись по лестнице, очутился на узкой боковой дорожке шоссе: ему хотелось выяснить, можно ли попасть туда, в те поля, в те луга, которые увидел тогда из окна машины. Но дойти так и не смог. Под ногами валялся мусор — консервные банки, обрывки бумаги, полиэтиленовые пакеты; воздух был исхлестан, измучен бесконечным потоком машин, а земля дрожала, как во время землетрясения, когда мимо проносились тяжелые грузовики; барабанные перепонки лопались от шума, и нечем было дышать, в ноздри лез запах горелой резины и отработанного дизельного топлива. Он сдался через полчаса и попытался выбраться с боковой дорожки шоссе, но оказалось, что она отгорожена от улиц металлической сеткой. Пришлось снова пройти весь путь в обратном направлении, снова пересечь автостоянку у супермаркета и выйти, как обычно, на Кенсингтонский проспект. Он чувствовал себя до предела измотанным и вдобавок был оскорблен неудачей. Домой еле плелся, шурясь от низкого, слепящего солнца. Машины матери на стоянке не было. В квартире надрывался телефон. Он поспешно снял трубку.

— Ну наконец-то! А я телефон обрываю! Где ты пропал? Я уже дважды пыталась до тебя дозвониться. Побуду еще здесь, часиков до десяти. У Дурбины, конечно. В морозилке возьмешь «Жаркое из индейки». «Восточный обед» не трогай, это на среду. В общем, увидишь сам, там написано на пакете.— В голове у него привычно звякнул кассовый аппарат: один доллар двадцать девять центов, спасибо.— Я, наверно, опоздаю к началу фильма, ну, по шестой программе, так ты посмотри, а потом мне расскажешь.

- Ладно.
- Ну тогда пока.
- Пока.
- Послушай, Хью!
- Да, я тебя слушаю.
- А почему ты так задержался?
- Пошел домой другой дорогой.
- Голос у тебя какой-то странный, сердитый.
- Не заметил.
- Прими аспирин. И холодный душ. Жарко — сил нет! Мне бы самой сейчас душ принять. Но я вернусь не очень поздно. Ну ладно, отдыхай. Ты ведь дома будешь?
- Да.

Она помедлила, но ничего больше так и не сказала, хотя трубку не вешала. Он сказал: «Пока», повесил трубку и стоял у телефона, чувствуя невероятную тяжесть собственного тела. Казалось, он превратился в огромного зверя, толстого, с морщинистой кожей, с отвисшей нижней губой, а ноги раздулись и стали похожи на шины от грузовика. Почему ты опоздал на пятнадцать минут почему у тебя голос сердитый отдыхай не трогай «Восточный обед» в морозилке не уходи из дому. Хорошо. Отдыхай отдыхай отдыхай. Он пошел на кухню и сунул замороженное «Жаркое из индейки» в духовку, хотя согласно инструкции духовку сначала нужно было разогреть. Включил таймер. Хотелось есть. Ему вечно хотелось есть. Правда, по-настоящему он голода никогда не испытывал, но поесть был не прочь практически всегда. На полке в буфете лежал пакет с арахисом; он прихватил его с собой, прошел в гостиную, включил телевизор и плюхнулся в кресло. Кресло зашаталось и затрещало — он так и подскочил, даже уронил только что открытый пакет с арахисом: это уж слишком — какой-то чудовищный слон, пожирающий арахис. Он чувствовал, что рот его безобразно разинут, но наполнить легкие воздухом никак не удавалось, потому что в горле будто что-то застряло и всю рвется наружу.

Он так и застыл у кресла, вздрагивая всем телом, и то, что застряло у него в горле, вырвалось наконец наружу в крике: «Не могу! Больше не могу!»

Вне себя от ужаса, он бросился к двери, рывком отворил ее и выбрался на улицу прежде, чем то, что застряло у него в горле, успело обернуться каким-либо новым воплем. Жаркое вечернее солнце освещало белые камни бордюров, площадки автостоянок, играло на крышах машин, на стенах домов, его лучи качались на качелях, скользили по телевизионным антеннам. Он стоял, дрожал и судорожно сжимал челюсти: та штука в горле пыталась заставить его раскрыть рот, пыталась снова вырваться наружу. Он не выдержал и побежал.

Направо, вниз, до Дубовой Долины, потом налево, к Сосновому Долу, снова направо — он уже не знал, куда бежит, потому что не мог прочитать названий улиц. Он не привык бегать, и это давалось ему с трудом. Ноги тяжело бухали по земле. Машины, стоянки и дома под палящим солнцем слились в сплошную слепящую пелену, которая то вспыхивала, то гасла. Где-то внутри, в мозгу бились слова: *Ты убегаешь от света дня*. Воздух кислотой разъедал, обжигал горло и легкие, дыхание вырывалось из груди со звуком рвущейся бумаги. Слепящая пелена будто налилась кровью. Он бежал все медленнее, все тяжелее, куда-то вниз, вниз по склону холма, тщетно пытаясь притормозить, замедлить бег и чувствуя, что земля осыпается, ускользает из-под ног, а по лицу хлещут ветки каких-то гибких растений. Он видел темно-зеленую листву, он вдыхал ее запах и еще запах сломанных ветвей, запах земли; и, перекрывая стук его сердца и хрип дыхания, вдруг грянула громкая неумолкающая музыка. Пошатываясь, он сделал еще несколько неверных шагов, потом встал на четвереньки, еще немного прополз, помогая себе локтями и коленями, и, наконец, рухнул ничком, растянувшись на каменистом берегу ручья, у самой воды.

Когда наконец он пришел в себя и сел, то ощущения, что спал, не было, и все же казалось, что он будто просыпается, просыпается после долгого, глубокого и безмятежного сна, когда принадлежишь только себе и ничто не может нарушить покоя в твоей душе до тех пор, пока сам не встанешь навстречу дальнейшей жизни. Казалось, это ощущение покоя создавала именно музыка бегущей воды. Из-под его пальцев на скалу тихо сыпался песок. Он сел и почувствовал, как легко проникает в легкие воздух. Воздух был прохладным, в нем смешались запахи земли, прелого листа, свежей зелени, запахи трав, цветов, кустов и деревьев; пахло речной холодной водой, илом и еще чем-то сладковатым и неуловимо знакомым, только он не мог вспомнить чем; и все эти ароматы сливались воедино, переплетались и все же ощущались каждый в отдельности, подобно тому как переплетаются нити в куске грубой ткани; запахи возбуждали обоняние, беспредельно расширяя его, и оно вмещало каждый из них в его неповторимости, и все они, благоуханные и зловонные, сливались в гигантский, темный, глубоко чуждый и бесконечно знакомый, родной запах летнего вечера на берегу лесной реки.

Да, вокруг него был лес. И он ни малейшего представления не имел о том, как далеко находится от города и за сколько времени можно пробежать, скажем, километр, но чувствовал, что наконец *убежал* — убежал от городских улиц, от расчерченного тротуарами асфальтового мира сюда, к настоящей земле. Земля была темная, чуть влажная, с неровной поверхностью и, в отличие от городской, включала в себя такое множество элементов, что в это трудно было снова поверить. Пальцем он трогал комки земли, песок, прелые листья, гальку, огромный камень, наполовину зарывшийся в землю, корни деревьев. Он уткнулся лицом в землю, прильнув к ней, слившись с нею. Немного кружилась голова. Он глубоко вздохнул и, вытянув руки, погладил землю ладонями.

Было еще довольно светло. Глаза понемногу привыкли к неяркому освещению, и теперь он ясно видел все вокруг, хотя в тени деревьев и в их густой листве уже таилась ночная тьма. Небо над головой, над черными, четко очерченными ветвями было каким-то бледным, однообразным, лишенным многоцветья закатных красок. Звезд еще не было. Ручей шириной метра три, извивающийся меж бесчисленных валунов по каменистому ложу, казался лишь ожившим клочком все того же бесцветного неба, поблескивающей живой лентой, с журчанием обвивающей скалы. Открытые песчаные берега по обе стороны ручья были светлы; только ниже по течению, где деревья стояли тесней и ближе к воде, сгущалась тьма, расплывались контуры деревьев и скал.

Он стряхнул со щек и волос песок, сухие листья и паутину, чувствуя под глазом легкое жжение — видно, оцарапался веткой. Прополз вперед, опираясь на локти, внимательно посмотрел на воду и потрогал ее, сначала едва касаясь ее поверхности раскрытой ладонью, словно глядя зверька, потом опустил руку глубже в воду и почувствовал, как в ладонь упруго бьются струи ключей. Тогда он подошел еще ближе, обеими руками уперся в песчаное дно чуть подальше от берега, опустил лицо и стал пить прямо из ручья.

Вода была холодная и пахла небом.

Хью полежал немного на песчаном берегу, низко склонив голову к воде и ощущая на губах особый, странный, ни с чем не сравнимый вкус и аромат. Потом медленно встал на колени, поднял голову, положил на колени руки и застыл. То, для чего язык не находил слов, тело воспринимало легко и с превеликой благодарностью.

Когда же благодарно-молитвенный восторг чуть поутих и будто растворился, превратясь во множество быстро сменяющих друг друга радостных ощущений, Хью сел на пятки и еще раз осмотрелся вокруг, теперь уже более внимательно и последовательно.

Глядя на однообразно-бесцветное небо, он не мог определить, где север, но был уверен, что пригороды, шоссе, сам город — все это прямо позади. Тропа, которая привела его сюда, выходила на берег как раз между красноватым стволом огромной сосны и высоким кустом с крупными листьями. Потом она резко поднималась вверх и терялась в густой тени деревьев.

Ручей пересекал тропу точно по перпендикуляру, справа налево. Вверх по течению было видно далеко — весь противоположный берег, который постепенно становился все круче, и каменистое русло, причудливо извивающееся среди деревьев и скал. Вниз по течению кроны деревьев почти смыкались, и в густой тени под ними видны были лишь отблески света на поверхности бегущей воды; здесь оба берега почти отвесно уходили вверх, а чуть дальше открывалась поляна или небольшой лужок, свободный от деревьев, заросший травой и кустарником.

Знакомый запах — название вертелось на языке — стал сильнее, уже и руки пропахли этой травой... Мята! Вот что это такое! Заросли травы у самой кромки воды, которые он смял, когда лежал ничком, — это наверняка дикая мята. Хью сорвал листок, понюхал, пожевал, почему-то надеясь, что он окажется сладким, как мятная конфета. Листок был терпкий на вкус, чуть пахнувший землей, шершавый, холодный.

Хорошее место, подумал Хью. И я сам пришел сюда. В конце концов я все-таки что-то нашел. Сам.

Где-то далеко позади остался обед в духовке, включенный таймер, телевизор, орущий в пустой комнате. Незапертая входная дверь. Может, и незакрытая. Интересно, сколько прошло времени?

Мать вернется в десять.

Где ты был Хью Гулял *Но когда я вернулась тебя дома не было ты же знаешь как я...* Да я вернулась позже чем рассчитывала извини *Но тебя же не было дома*

Он уже вскочил на ноги. Но листок мяты все еще держал

во рту, и руки у него были мокрые, а рубашка и джинсы — перепачканы зеленью и речным песком и илом. А на сердце — покой. Я сам нашел это место и теперь смогу приходить сюда, когда захочу, сказал он себе.

Он постоял еще минутку, слушая, как журчит вода, обегая камни. Глядел на неподвижно застывшие ветви на фоне вечернего неба; потом отправился назад тем же путем, каким попал сюда, — вверх по тропе между большим кустом и сосной. Сначала подъем шел довольно круто и вокруг было почти темно, потом тропа стала более пологой, а лес — менее густым. Идти было легко, хотя в сгущающихся сумерках колючие ветки ежевики порой и цеплялись за одежду. Старая заросшая травой канава — неглубокая морщина на челе земли — опоясывала лес; сразу за ней перед Хью открылись поля. Вдали, за этими полями, на шоссе суетливо мелькали огоньки машин. Правее виднелись неподвижные огни какого-то большого здания. Он шел прямо на них через поле, по засохшей траве и окаменевшим комьям земли, и наконец поднялся на холм, достиг края поля, от которого тянулся грейдер. Большое, освещенное прожекторами здание стояло ближе к шоссе, левее того места, где он вышел; дорога вела к домам, похожим на фермерские. Во дворе одного из них горел фонарь, и он уверенно пошел именно в этом направлении — вниз по дороге, между фермерскими домами. Когда стоянки для машин и лающие во дворах собаки остались позади, он увидел длинный ряд деревьев, уходящий в темноту, а потом — первые огни городской улицы. Это была площадь Челси-Гарденз, за ней — широкая улица того же названия, миновав которую он попал в самый центр жилого района. Он шел словно по наитию, не ведая, как именно попал в то место, когда бежал из дому, и каждая новая улица безошибочно выводила его куда надо — на Кенсингтонские Высоты, в Сосновый Дол, в Дубовую Долину и к дому с табличкой «140671/2-С, Дубовая Долина». Дверь дома была закрыта.

Телевизор трясся от консервированного смеха. Хью выключил его и только тогда услышал, как на кухне верещит таймер, и бросился туда со всех ног. Кухонные часы показывали пять минут девятого. «Жаркое из индейки» полностью мумифицировалось в своем алюминиевом гробике. Хью попытался ковырнуть его вилкой, но жаркое было как камень. Он выпил литр молока и съел четыре ломтя хлеба с маслом, потом пол-литра черничного йогурта и два яблока; забрал из гостиной пакет с арахисом и, сидя за кухонным столом, ломал скорлупки и клал ядрышки в рот. Думал. Домой он добирался долго. На часы, правда, не смотрел, но на дорогу потребовался примерно час. И около часа, а то и больше он провел у ручья, это уж точно. И еще какое-то время ему понадобилось, чтобы попасть в лес, ну пусть он бежал достаточно быстро, все же рекордсменом в беге явно не был. Вернувшись домой, он готов был поклясться, что уже часов десять, а то и все одиннадцать. Оставалось предположить, что все часы — наручные и кухонные — принялись единодушно врать.

По природе он не был спорщиком, а потому решил не спорить и с часами. Доел арахис, перешел в гостиную, зажег свет, включил было телевизор, потом снова выключил, погасил свет и уселся в кресло. Кресло снова застонало и закачалось, но теперь он считал, что виновато само неудобное хилое кресло, а не его, Хью, массивность и неуклюжесть. После пробежки он чувствовал себя хорошо. Жалел дурацкое хлипкое кресло, зато собственная персона отвращения больше не вызывала. Но почему он бросился бежать? Да ладно, не стоит ломать голову. За всю свою жизнь он не сделал и шагу самостоятельно. Вечная игра в прятки с собственными проблемами. Зато теперь он сумел не только надежно спрятаться, убежав из дому, но и куда-то *прибежать* — такого в его жизни еще не было. Он никогда не мог обрести убежища, побыть наедине с самим собой. И вот теперь сам нашел и собственными глазами увидел такое место, потаенное, странное. И теперь все

то, среди чего в пяти различных штатах он прожил последние семь лет — пригороды, двухквартирные дома, крытая стоянка у супермаркета, купленные на распродаже машины, качели, белые камни бордюров, кусты мертвого можжевельника, ветчина в ломтиках со скидкой, обертки, бумажки,— все это стало в конце концов несущественным, преходящим, не самым важным в его жизни после того, как совсем рядом, стоило лишь переступить порог, открылась благодатная тишина, одиночество, плеск воды, струящейся в сумеречном свете, вкус листка мяты.

Тебе не следовало пить эту воду. Наверняка нечистая... Тиф. Холера... Нет! Это была первая по-настоящему чистая вода в моей жизни. И я, черт побери, пойду туда снова и буду пить ее когда и сколько захочу.

Родник. В том штате, где он заканчивал школу, это называли бы просто ручьем, но слово «родник» пришло к нему откуда-то из дальних далей, из глубокой сумеречной копилки памяти, не совсем ясное слово, но очень подходящее для струящейся в вечернем свете воды, для слабых, неясных проблесков чего-то нового, осветивших его душу. Стены комнаты, где он сидел, слабо вздрагивали — в квартире этажом выше на полную мощность работал телевизор, по стенам метался свет уличного фонаря, проникавший сквозь тюлевые шторы, и изредка — мутным пятном — проплывал свет от фар проезжающей мимо машины. И где-то внутри этого беспокойного, освещенного мигающими огнями мира существовало тихое убежище, *его родник*. С мыслью об этом мозг плавно переключился на старое: если я пойду туда, куда хочу, если я поступлю здесь в колледж и стану общаться с людьми, возможно, потом обнаружится место и стипендия в библиотечном колледже, а может, если мне удастся отложить достаточно денег на вступительный взнос да еще получить стипендию... и отсюда мысли поплыли дальше, как лодка в каботажном плаванье от одного острова к другому, к отдаленному будущему, к давно уже придуманным картинам — к зданию

с широкими и пологими лестницами, к стеллажам в просторных залах с огромными окнами, к спокойным людям, спокойно занимающимся своим делом, уютно, по-домашнему чувствующим себя среди бесконечных книжных полок, где им удобно, как мыслям в черепной коробке, к городской библиотеке и к Национальной Неделе Книги, к своему дому, к своей собственной тихой пристани...

— Что это ты здесь делаешь и почему сидишь в темноте? И телевизор почему-то не включен? И входная дверь не заперта! И главное, почему в темноте? Я уж подумала, что в доме никого нет.

Получив ответы на все эти вопросы, она обнаружила «Жаркое из индейки», которое он, к сожалению, недостаточно глубоко зачихнул в мусорное ведро под раковиной.

— Что же ты ел? И вообще, что с тобой такое? Ты что, не мог инструкцию прочитать? У тебя, наверно, грипп, принял бы аспирин. Нет, правда, Хью, ты просто не в состоянии за собой присмотреть, элементарных вещей не умеешь. Как я могу спокойно пойти куда-нибудь отдохнуть с друзьями после работы, если ты такой разгильдяй? А где пакет с арахисом, который я купила, чтобы завтра взять к Дурбине?

И хотя сначала он воспринимал ее примерно как то кресло, то есть как нечто просто ему несоответствующее и тщетно пытающееся соответствовать, и у него было ощущение, что она здесь, а он там, в своем убежище у родника, и видит ее как бы оттуда, но долго продержаться он не смог: его втащили сюда словно на веревке, втаскивали до тех пор, пока он не перестал сопротивляться, и только старался не вслушиваться, а просто отвечать: «Ладно. Хорошо»; а после того как она включила последнюю серию телебоевика, который так хотела посмотреть, он поспешно пробормотал: «Спокойной ночи, мама» — и убежал. Спрятался в постели.

В небольшом магазине того последнего города, где Хью

впервые продвинулся из разносчиков в кассиры, дела шли неспешно, хватало времени на треп и перекуры в складских помещениях, но здесь, у Сэма, дело было поставлено жестко, каждый знал свое место, и ждать поблажек не приходилось. Иногда казалось, что очередь к твоей кассе вот-вот кончится, но тут же обязательно возникал кто-то еще. Хью научился думать урывками — не самый лучший способ, но для него единственно возможный. В течение рабочего дня мысль у него складывалась как бы по кусочкам, и он мог к ней вернуться в любое время: мысль дожидалась его, как послушная собака хозяина. Сегодня она, как послушная собака, терпеливо ждала, когда он проснется, и вместе с ним радостно отправилась на работу. Он все думал о том, как хочется пойти к *роднику*, снова туда вернуться, но так, чтобы хватило времени и не нужно было спешить. К половине одиннадцатого, проверив продукты у пожилой дамы в ортопедической обуви, вечно твердившей, что раньше консервированная лососина стоила десять центов банка, а теперь цена на нее так чудовищно выросла, потому что всю ее посылают за границу по ленд-лизу, и при этом расплачивавшейся за хлеб и маргарин талонами пособия, он уяснил для себя, что лучше всего ходить к роднику утром, а не вечером.

Мать со своей новой подругой Дурбиной увлеклись оккультными науками, и в последнее время она бывала у Дурбины по крайней мере раз в неделю. Таким образом, один вечер у него точно свободен, хотя всего один и к тому же неизвестно, какой именно; да еще пришлось бы беспокоиться, что мать вернется домой раньше его.

Днем мать не возражала, если он приходил позже ее, но если рассчитывала, что он должен быть дома, а его не оказывалось, или если вечером возвращалась в пустой, темный дом, вот тогда ничего хорошего ждать не приходилось. А в последнее время ничего хорошего не было, даже если он просто выходил из дому после наступления темноты, оставляя ее одну. По вечерам стало невозможно куда-то

пойти; он и помыслить об этом не мог, как и о вечерних занятиях в колледже.

Но утром мать отправлялась на работу в восемь. Вот утром он мог бы успеть сходить к лесному ручью. Все-таки получалось целых два часа. Днем в тех местах могут оказаться люди, подумал он,— он размышлял об этом в полдень, когда Билл подменял его на кассе, чтобы дать ему возможность перекусить,— или знаки, предупреждающие, что это частная собственность, прохода нет и тому подобное, но он все же попытается. Непохоже, что там часто бывают люди.

Он вернулся домой в обычное время, в четверть седьмого, но матери еще не было, и телефон молчал. Он уселся и стал читать газету, думая о том, что хорошо было бы пожевать чего-нибудь вроде вчерашнего арахиса, который мать собиралась отнести к Дурбине. Эх, черт побери, лучше б к ручью сходил, в самом деле! Он было поднялся, чтобы идти туда, но понял, что теперь уже поздно и к тому же он не знает, когда вернется мать. Он пошел на кухню и хотел приготовить себе обед, но не мог найти ничего такого, что было бы ему по вкусу; он похватал разных кусков и остатков, открыл и выпил банку апельсинового сока. Болела голова. Хотелось почитать какую-нибудь книгу, и он подумал: почему бы мне, собственно, не купить машину, чтобы ездить в центр, в библиотеку, чтобы вообще ездить повсюду,— почему я никуда не езжу, почему у меня нет машины — а зачем машина, если работаешь с десяти до шести и по вечерам должен сидеть дома? Он посмотрел по телевизору обзор новостей, чтобы заткнуть пасть той собаке, что выла у него в голове, рычала и скалилась. Зазвонил телефон. Голос матери был резок.

— На этот раз я сначала хотела убедиться, что ты дома, прежде чем выехать,— сказала она и повесила трубку.

В постели этой ночью он все пытался думать о чем-нибудь приятном, но любая мысль оборачивалась мучением; тогда он стал вспоминать о том, как давно, лет в пятнадцать,

придумывал, будто у него любовница — стюардесса. Это помогло, и он наконец уснул.

Утром он встал в семь вместо восьми. Матери он не сказал, что собирается встать раньше: она подобных новшеств не любила. Мать сидела с чашкой кофе и сигаретой в гостиной и смотрела по телевизору утренний выпуск новостей; между подведенными бровями сердитая складка. Она никогда не завтракала, только пила кофе. А Хью любил хорошенько позавтракать, он любил яйца, ветчину, бекон, тосты, рогаики, картошку, колбасу, грейпфруты, апельсиновый сок, блинчики, йогурт, овсянку — да почти все на свете — и кофе пил с молоком и с сахаром. Мать находила его шумные приготовления к еде тошнотворными. Между кухней и гостиной не было двери, и Хью старался двигаться как можно тише и ничего не жарить, но и это не помогло. Мать прошла мимо него, когда он сидел за кухонным столом и пытался бесшумно съесть кукурузные хлопья с молоком, и швырнула чашку с блюдцем в раковину, сказав: «Я ухожу на работу» — тем ужасным тоном, острым, режущим, который он физически ощущал, как острие ножа. «Хорошо», — сказал он, не оборачиваясь и стараясь говорить как можно мягче, спокойнее, потому что знал, что именно его низкий голос, огромный рост, огромные ступни и толстые пальцы рук, его тяжелое чувственное тело она выносит с трудом, что все это вызывает в ней какое-то яростное отвращение.

Она сразу же ушла, хотя было только тридцать пять минут восьмого. Он услышал, как завелся мотор, увидел, как ее голубая японская машина проехала мимо окна и быстро умчалась прочь.

Когда он подошел к раковине, чтобы вымыть посуду, то увидел, что ее блюдце разлетелось на куски, а у чашки отбита ручка. От этого маленького насилия у него засосало под ложечкой. Он стоял с открытым ртом у раковины, опершись о ее край руками, и, покачиваясь, переступал с ноги на ногу — как всегда, когда бывал расстроен. По-

том медленно протянул руку, включил холодную воду и смотрел, как она бежит — шумной, быстрой и чистой струей, наполняя разбитую чашку и переливаясь через ее края.

Он вымыл тарелки, запер входную дверь и отправился в путь. Направо по Дубовой Долине, налево в Сосновый Дол и дальше по знакомому пути. Идти оказалось приятно, воздух был еще свеж, пока не ощущалось тяжелой дневной жары. Он миновал детскую площадку с очень хорошими качелями, потом еще домов десять — двенадцать и почти полностью забыл об утренней выходке матери. Однако шел он, поглядывая на часы, и постепенно начал сомневаться, успеет ли дойти до лесного ручья раньше, чем наступит время спешить назад, в супермаркет Сэма, чтобы к десяти быть на работе. Как это в прошлый раз он всего за два часа успел добраться до источника, побыть там и вернуться назад? Может, сейчас он сбился с пути или идет не по самой короткой дороге? Однако та часть мозга, что ведала интуицией и не требовала слов для выражения мыслей, отмела эти страхи и сомнения и продолжала вести его дальше и дальше от Кенсингтонских Высот и Челси-Гарденз и километров через пять безошибочно вывела к грейдеру, спускающемуся с холма.

Большое здание возле шоссе оказалось фабрикой красок; с грейдера была видна обратная сторона ее разноцветной вывески. Он дошел до металлической сетки, окружавшей фабричную автостоянку, и осмотрелся, словно пытаясь с высоты холма снова разглядеть те залитые золотистым светом поля, которые когда-то видел из окна машины. Под ярким утренним солнцем никакого золотого сияния над ними не было. Заросшие сорняками, поля выглядели давным-давно заброшенными, непахаными, одичалыми. Они будто давно ждали своих земледельцев. Доска с надписью: МУСОР НЕ СВАЛИВАТЬ торчала над канавой, полной чертополоха, в котором валялась проржавевшая автомобильная ось. Далеко в поле купы деревьев отбрасывали тень к западу; дальше виднелся лес, голубевший в туман-

ной, просвеченной солнцем дымке. Было уже больше половины девятого, и становилось жарко.

Хью снял джинсовую куртку, вытер со лба пот. Потом минуту постоял, глядя на дальнюю лесную страну. Если он туда пойдет, чтобы всего лишь напиться из ручья и сразу же вернуться, то в любом случае опоздает на работу. Он выругался вслух, горько, грубо, на душе было погано. Потом повернулся и пошел вниз по гравиевой дорожке к фермерским домам и лесопитомнику, или делянке с рождественскими елочками, или чему-то в этом роде тем же путем, минуя площадь Челси-Гарденз, по извилистым, лишенным деревьев улицам, между газонами, автостоянками, домами, газонами, автостоянками, домами, добрался наконец до супермаркета Сэма. Было без десяти десять. Лицо у Хью было красным и потным, и Донна в подсобке сказала ему: «Ну что, Бак, проспал?»

Донне было лет сорок пять. Свою копну темно-рыжих волос она недавно превратила в модную хитроумную прическу из локонов и завитков, благодаря чему теперь выглядела сзади на двадцать, а спереди на все шестьдесят. У нее была хорошая фигура, плохие зубы, один неважнецкий сын — пьяница — и один хороший, который работал шофером грузовика на дальних рейсах. Хью ей нравился, и она старалась не упустить возможности поговорить с ним, рассказывала ему — иногда, если сидела за соседней кассой, прямо поверх голов покупателей и тележек с продуктами — о своих зубах, о своих сыновьях, о том, что у свекрови рак, о беременности своей собаки и связанных с этим осложнениях, предлагала ему щенков, они пересказывали друг другу содержание фильмов. Она стала звать его Баком, как только он поступил на работу в супермаркет. Говорила: «Ты настоящий Бак Роджерс* двадцать первого века. Боюсь, правда, что ты слишком молод, чтобы помнить, каков был настоящий» — и сама смеялась своей шутке.

* Ричард Роджерс (Бак) родился в 1902 г. Американский композитор, автор популярной джазовой музыки.

В то утро она сказала: — Ну что, Бак, проспал? Как не стыдно!

— Я встал в семь,— попытался он оправдаться.

— А почему бежал? От тебя же просто пар идет!

Он стоял, не зная, что ответить, потом уцепился за слово «бежал».

— Я бегал. Знаешь, говорят, это полезно.

— Да-да, мне вроде бы даже какая-то популярная книжонка об этом попадалась. Тот же бег трусцой, только с большей нагрузкой. А ты что, просто раз десять обегаешь квартал? Или ходишь на стадион?

— Да нет, я просто бегал,— сказал Хью, и от ее дружелюбной заинтересованности ему стало неловко: ведь он ей врал. Но ему и в голову не приходило рассказать ей о том месте у лесного источника.— По-моему, я слишком много вешу. Вот и решил похудеть.

— Да, пожалуй, для своего возраста ты вешишь многовато. Но мне ты нравишься,— сказала Донна, оглядывая его с ног до головы. Хью был страшно польщен.

— Я же толстый,— сказал он и похлопал себя по животу.

— Скорей рыхловатый... Может, вес-то у тебя и большой, да ведь ты и сам не маленький, вон какой громила вымахал, откуда только что берется? Мать-то у тебя совсем крошка, такая худенькая, я просто поверить не могу, что ты ее сын, когда она сюда за продуктами приходит. Должно быть, отец твой — мужчина крупный, а? Ты свой рост, наверно, от него унаследовал?

— Да,— сказал Хью, отворачиваясь и надевая фартук.

— А он что, умер, да, Хью? — спросила Донна с таким материнским участием, что он не мог ни промолчать, ни сказать какую-нибудь чушь. Но и правду сказать тоже был не в состоянии. Он только помотал головой.— В разводе, значит,— сказала Донна самым обычным тоном, даже с облегчением, явно предпочитая это смерти; Хью, для матери которого само слово «развод» было непристойным, непризносимым, в душе полностью согласился с точкой

зрения Донны, но все же снова отрицательно помотал головой.

— Ушел,— сказал он.— Извини, мне надо помочь Биллу с упаковочными клетями.

И ушел от нее — убежал, спрятался. Между упаковочными клетями, между витринами с фальшивыми окороками и прилавками с зеленью, между кассовыми аппаратами — спрятаться можно было где угодно, только нигде по-настоящему.

Не раз за день он вспоминал вкус ключевой воды, ее ласковое прикосновение к губам. И ему смертельно хотелось снова испить этой воды.

Дома за обедом он выразил вслух идею, невзначай подаренную ему Донной.

— Я решил утром вставать пораньше и бегать трусцой,— сказал он. Они ели, сидя перед телевизором, с тарелок, украшенных вензелем телекомпании.— Поэтому я и сегодня так рано встал. Попробовать решил. Только, наверно, лучше раньше. Может, в пять или в шесть. Пока на улицах еще нет машин. И прохладно. Да и глаза тебе не буду мозолить, когда ты на работу собираешься.— Мать уже начинала пристально на него поглядывать.— Если ты, конечно, не возражаешь, чтобы я уходил из дому раньше, чем ты. Я что-то не в форме. Торчу и торчу у кассы, а там не очень-то подвигаешься, а?

— Ну, все же больше, чем за письменным столом, особенно если целый день сидишь,— сказала она. Будто неожиданно с фланга его атаковала. Он уже несколько месяцев не упоминал ни о библиотечном колледже, ни вообще о работе в библиотеке — с тех пор как они в очередной раз переехали. Возможно, впрочем, что она просто имела в виду работу в конторе, вроде той, где работала сама. Пока ее голос еще не рассекал воздух как острие ножа, но уже был достаточно пронзителен.

— Ты не будешь возражать, если я стану бегать рано утром часа по два? Я могу возвращаться как раз к твоему

уходу на работу, а завтракать уже потом.

— Почему я должна возражать? — сказала она, оглядывая свои худые плечи и поправляя бретельки сарафана. Потом закурила и взглянула на экран телевизора, где репортер описывал воздушную катастрофу. — Ты абсолютно свободен и можешь уходить и приходить когда вздумается, тебе двадцать, почти двадцать один, в конце концов. И вовсе не нужно спрашивать у меня разрешения из-за всякой ерунды, которая взбредет тебе в голову. Я же не могу решать за тебя все. Единственное, на чем я действительно настаиваю, это чтобы вечером дом не был пустым, и я действительно позавчера испытала огромное потрясение, когда подъехала к абсолютно темному дому. В конце концов, здесь просто должен говорить здравый смысл и чувство ответственности за других. Теперь ведь дошло до того, что человек даже в собственном доме не может чувствовать себя в полной безопасности.

Она говорила все более и более напряженно, пощелкивая ногтем большого пальца по фильтру сигареты. Хью тоже насторожился, не имея представления, чем закончится этот разговор, но она больше ничего не сказала — увлеклась телепередачей, и он не стал развивать эту тему дальше. Так и отправился спать. Обычно он избегал говорить о том, что могло спровоцировать ее истерику, но на сей раз был настроен решительно. Это было как жажда — во что бы то ни стало надо было напиться. Он проснулся в пять и еще в полусне вскочил с постели и стал натягивать рубашку.

Квартира в предрассветных сумерках выглядела незнакомой. Не надевая туфель, босиком он вышел на крыльцо. Солнечные лучи косо освещали боковые улочки, пробиваясь между домами. Дубовая Долина утонула в голубой тени. Куртку он не взял и дрожал от холода. В спешке нечаянно затянулся в узел шнурок на ботинке, и он вынужден был сражаться с узелком, словно маленький мальчик, опаздывающий в школу. Наконец он двинулся в путь, побежал трусцой: он не любил врать. Он ведь сказал, что

будет бегать трусцой, вот и побежал.

Примерно около часа он то бежал, то шел, пока совсем не задохнулся, но через силу заставил себя снова бежать трусцой, чтобы поскорей добраться до леса, лежащего по ту сторону заброшенных полей. На опушке он немножко перевел дух и глянул на часы. Было без десяти шесть.

В лесу, хоть и не густом, ощущение возникало совсем иное, чем в поле, на опушке: будто с улицы вошел в дом. Уже через несколько метров жаркое, яркое утреннее солнце перестало лить свой свет сплошным потоком и лишь случайными зайчиками играло порой на листьях и на земле. С тех пор как городские улицы остались позади, он не встретил ни единого человека. Ему не попалось ни одной изгороди, правда, на опушке леса валялись какие-то полу-сгнившие столбы и колючая проволока. В глубь леса между деревьями и кустами вела не одна тропинка, но он безошибочно выбрал единственно верный путь. Поодаль от тропинки, под колючими лапами ежевики он заметил кусок фольги, но не было здесь ни жестянок из-под пива или соков, ни гигиенических салфеток, ни другого гнусного мусора. Сюда приходили редко. Тропинка повернула налево. Он поискал глазами высокую сосну с красным шероховатым стволом и увидел ее темную вершину на фоне неба. Тропа шла вниз, вниз, вокруг становилось темнее, а земля под ногами чуть пружинила. Он прошел между стволом сосны и тем высоким кустом, словно в ворота, прямо к роднику, и наконец перед ним заплясали блики отраженного водой света, запел бегущий ручей, и его окружила прохлада — прохладные, благоуханные, ясные сумерки летнего вечера.

Он стоял на пороге, над ним аркой сомкнулись деревья. Если я оглянусь, подумал он, то сквозь деревья увижу солнечный свет. Он не оглянулся. Он пошел вперед, медленно передвигая ноги.

У самой воды Хью остановился, чтобы снять часы. Стрелки не двигались, часы показывали без двух минут шесть.

Он потряс их, сунул в карман джинсов, закатал рукава рубашки выше локтя и опустился на колени. Потом решительно, хотя и неторопливо наклонился вперед, опершись на руки, тут же погрузившиеся во влажный песок, опустил голову и напился ключевой живой воды.

Выше по течению, метрах в двух от него, над берегом выступала плоская скала. Он подошел и уселся на нее, склонившись вперед и опустив руки в воду. Потом несколько раз провел мокрыми руками по лицу и волосам. Кожа была чистая, вода холодная; он с удовольствием заметил, что руки его в ледяной воде покраснели и цветом напоминают консервированную лососину. Вода была темная, но чистая и прозрачная, как дымчатый топаз. На песчаном дне в низинке возле скалы — россыпи разноцветных камешков, видных отчетливо, словно через увеличительное стекло. Он полюбовался камешками и тем, как над ними бежит, чуть завихряясь, прозрачная вода, потом выпрямился и уставился в бесцветное небо. Там все было недвижимо. Ему казалось, что краем глаза он успел увидеть звезду прямо рядом с остроконечной вершиной сосны на той стороне ручья, но когда стал искать ее в небе, то не нашел. И долго сидел не двигаясь, обхватив колени руками, слушая, как поет бегущая вода.

Над ручьем прошуршал ветерок, а Хью все сидел неподвижно. Наконец встал, потянулся так, что хрустнули ребра, и побрел вниз по ручью, стараясь держаться как можно ближе к воде, ступая по самой кромке песчаного пляжа. Он смотрел вокруг в радостном и приятном возбуждении, почти без опаски, с удовольствием разглядывая землю, скалы, заросли кустов, и деревья, и темный лес, обступивший ручей с обеих сторон. Ниже по течению, в излучине ручья почва была не такой сырой и торфянистой, здесь росла густая жесткая трава и кустарник почти в человеческий рост. Между кустами там и сям виднелись покрытые травой лужайки, похожие на маленькие садики или уютные комнатки без потолка. Здесь можно отлично

устроиться, подумал Хью. Если есть палатка — впрочем, нужна ли летом палатка? Вполне хватит спального мешка. И какой-нибудь посуды, чтобы готовить. И еще нужны спички. Костер можно развести там, на песке, под скалистым берегом. Интересно, можно ли здесь разводить костры? Вообще-то, если не готовить еду, костер необязателен, но, с другой стороны, это какой-то очаг, тепло... А потом можно лечь спать, провести всю ночь под открытым небом, слушая пение воды... Он неторопливо шел вдоль ручья, часто останавливаясь, чтобы внимательнее оглядеться и подумать. Здесь он двигался размашисто, уверенно, свободно, постоянно ощущая легкую и приятную настроенность, потому что место было действительно странное и совершенно необитаемое. Наконец вернувшись к плоской скале, он еще раз опустил на колени, склонился к воде и напился. Потом встал и решительно двинулся к проходу между сосной и высоким кустом. Один раз оглянулся и ушел.

Тропа круто поднималась вверх и была едва различима в полумраке. Ветки хлестали по лицу; то и дело приходилось отворачиваться, закрывать глаза. Где-то, уже почти наверху, он неправильно свернул и потом продирался сквозь лесные заросли, которых раньше не заметил, через болотистый, заросший высокой травой кусок леса, где тощие деревца, сплетаясь ветками, образовывали непроходимые островки. Из леса он вышел там, где по краю поля проходила глубокая дренажная канава, полная всякого мусора и старой ботвы, и увидел восходящее солнце, своими яркими лучами-копьями приветствующее новый день. Он вытер лоб, который саднил в том месте, где его удалось таки зацепить колючей ежевике, и порылся в карманах в поисках часов. Часы снова шли и показывали восемь минут седьмого. На самом деле было, конечно, гораздо больше, просто часы стояли все то время, что он провел у источника, но он еще рассчитывал попасть домой к восьми. И двинулся в путь, но уже не рысцой, потому что сейчас

ему вовсе не хотелось задыхаться и хватать воздух ртом, а быстрым, размеренным шагом. Мыслями он все еще был там, в тиши у ручья, где не о чем беспокоиться и никому ничего не надо объяснять. Бодрый и довольный собой, он быстро миновал заброшенные поля, поднялся вверх по склону холма, прошел между скучными фермерскими домами и мимо лесопитомника и вскоре оказался на площади Челси-Гарденз, а потом, сворачивая с одной улицы на другую, добрался до дома номер 140671/2-С на Дубовой Долине. Когда он вошел, мать, одетая в ситцевый халатик, удивленно уставилась на него; она только что встала. Кухонные часы показывали всего без пяти семь.

Он уселся за кухонный столик, взял огромную миску кукурузных хлопьев с молоком и два персика и принялся за еду, потому что был ужасно голоден; последние двадцать кварталов он прошел, думая уже только о еде. Но вот он ел, и мысли его уносились все дальше и дальше от кухонного стола и от дома. Как это получилось, что он потратил час на дорогу к ручью, час провел там, еще час возвращался назад и все успел за два часа — с пяти до семи? И еще...

Мозг отказывался это понимать. Хью пожал плечами, опустил голову, чувствуя какое-то странное стеснение в груди, но все же продолжал рассуждать дальше, отталкиваясь от следующей мысли: там, у ручья, был вечер. Поздний вечер. Сумерки. Когда появляются звезды. Он пришел туда в шесть утра при солнечном свете и вышел из леса тоже в шесть при солнечном свете, но там все это время был поздний вечер. Вечер какого дня?

— Кофе хочешь? — спросила мать. Голос у нее спросонок звучал хрипловато, но не резко.

— Конечно,— сказал Хью, продолжая размышлять о своем.

Он подсыпал в миску еще кукурузных хлопьев, потому что готовить что-нибудь горячее, пока мать в кухне, не хотелось, ее это вечно раздражало. Хью снова задумался, зажав ложку в руке.

Мать поставила перед ним фаянсовую кружку с китайским рисунком, полную кофе, и слегка съехидничала: — Пожалуйте, ваше величество!

— Спасибо,— промычал он с полным ртом и продолжал жевать, оставившись в пространстве.

— Когда ты ушел? — Она уселась напротив с чашкой кофе.

— Около пяти.

— И ты все это время бегал? Целых два часа?

— Не знаю. Где-то, пожалуй, присаживался отдохнуть.

— Никогда не следует злоупотреблять физическими упражнениями, особенно вначале. Начинай понемножку и постепенно увеличивай нагрузку. Два часа для начала слишком много. Ты себе сердце можешь испортить. Знаешь, как люди сначала безумно радуются первому снегу, копаются в нем, а потом сотнями погибают на дороге в гололед. Нужно начинать понемножку.

— Все на одной и той же дороге? — невпопад пробормотал Хью, словно проснувшись.

— Ну а где же ты бегал? Все тут, вокруг? Но это же смешно!

— Да, в общем-то действительно все где-то здесь. Тут полно пустынных улиц.— Он встал.— Пойду кровать застелю и все такое,— сказал он. Потом сладко зевнул.— Не привык так рано вставать.— Он сверху вниз посмотрел на мать. Она была такая маленькая, худенькая, такая болезненно напряженная, что ему вдруг захотелось погладить ее по плечу или поцеловать в волосы, но она терпеть не могла, когда к ней прикасались, да он и неловко как-то всегда это делал.

— К кофе ты и не притронулся.

Он посмотрел на полную кружку, послушно выпил ее залпом и побрел в свою комнату.

— Всего тебе доброго,— сказал он.

Он бы туда не вернулся, если бы не вкус этой воды.

Единственной в мире, которую он только и должен был пить; никакая другая не утоляла его жажды. Если бы не это, говорил он себе, лучше держаться подальше от того места, потому что там происходит нечто весьма странное. Его часы там идти не желают. Или он сам сошел с ума, или это какие-то необъяснимые фокусы со временем, что-то вроде волшебства или оккультизма, которыми так интересуются его мать и ее подруга. А он такими вещами совсем не интересовался и не видел в этом смысла. Обычные-то вещи достаточно непонятны, стоит ли запутывать все еще больше, зачем усложнять и без того уже сложную жизнь. Но в том-то и дело, что единственным местом, где жизнь не казалась ему слишком сложной, был берег того ручья, и он просто должен был приходить туда, чтобы успокоиться, подумать, побыть одному, напиться этой воды и искупаться в ней.

Искупаться он решил только на третий раз. Разулся. Ручей казался довольно мелким, и он вошел в воду там, где было вроде бы поглубже. И провалился почти по пояс. С шумным плеском выскочил на берег, стащил с себя джинсы, и рубашку, и трусы и голышом снова полез в холодную шумливую воду. В основном было не глубже чем по грудь, но нашлось и такое местечко, где он смог даже немножко проплыть. Он нырнул и почувствовал, как бесчисленные придонные ключи выталкивают его вверх, а волосы свободно плывут рядом с лицом в странной бессолнечной прозрачности подводного мира. Он плавал, обдирая колени о невидимые скалы, касаясь их поверхностей ступнями и ладонями, боролся с клокочущей между валунами белой водой там, где течение становилось стремительным. На берег вылез фыркая, как буйвол, отряхиваясь и дрожа, набравшись прохлады и энергии, и насухо вытерся рубашкой. После этого раза он всегда плавал, когда приходил сюда.

Поскольку он приходил к источнику только ранним утром, то продолжал считать, что не сможет провести там

ночь, как мечталось. И впрямь, провести там ночь было невозможно: ночь там никогда и не наступала. Все там оставалось неизменным. Вечные вечерние сумерки. Иногда они казались ему чуть светлее, иногда — чуть темнее, но полной уверенности в этом не было. И звезды над верхушкой высокой сосны он так больше никогда и не увидел, хотя каждый раз был уверен, что она там, на том же самом месте. А вот часы — часы его всегда останавливались. Время не двигалось, словно здесь был какой-то остров и время обтекало его, как река огибает торчащий из песка валун. Сюда можно было прийти, побыть сколько угодно и выйти из лесу точно в тот же час, когда вошел. Или почти в тот же. Он чувствовал, что пробыл у источника не меньше часа, но когда вновь возвращался на освещенную солнцем опушку, его часы показывали, что прошло всего несколько минут. Возможно, они и не останавливались совсем, а просто шли очень-очень медленно; там время текло иначе; спускаясь к излучине ручья, вы попадали в иной мир, более замедленный. Только это, разумеется, было чепухой, о которой не стоило и думать.

На четвертый или пятый раз он пробыл у источника гораздо дольше обычного, искупался, развел костер, посидел у огня. А на работе уже к полудню почувствовал, что безумно, до головокружения хочет спать. Если задержаться у ручья еще немного, поспать, то по крайней мере не придется бодрствовать по двадцать часов подряд. Можно было бы прожить как бы две жизни — за один и тот же промежуток времени он бы тогда успевал в два раза больше. Хью вынимал из корзинки покупателя пучок сельдерея, когда эта мысль пришла ему в голову. И хоть рассмеялся, но заметил, что руки дрожат. Покупатель, тощий старикашка, уставившись поверх овощей на грибы — два доллара двадцать четыре цента, — сказал: «Надо бы проучить идиотов, которые пользуются психосредствами». Хью не понял, к нему ли относились эти слова, или к грибам, или вообще к чему-то другому.

За час обеденного перерыва он успел сходить на другую сторону шоссе в магазин, где продавались спортивные товары со скидкой, и истратить большую часть своего недельного заработка на спальный мешок, набор продуктов для туриста, очень хороший складной нож с двумя лезвиями и набор походной посуды из нержавеющей стали, перед которым невозможно было устоять. По дороге к кассе прихватил еще дешевый армейский рюкзак. Заталкивая пакеты с едой в рюкзак, он понял, что не может принести все это домой. Сегодня вечером мать никуда не уходит и будет дома, когда он вернется. *Что это такое, Хью? Зачем ты купил этот рюкзак? Да еще и спальный мешок! Но ведь хороший спальный мешок ужасно дорогой! Интересно, когда ты собираешься пользоваться всеми этими дорогими штучками?* Он глупо поступил, покупая все эти вещи. Где только была его голова? Он отнес все по жаре к себе в супермаркет, запер в холодильнике в кладовой и пошел к управляющему, чтобы отпроситься домой на час раньше.

— Зачем это? — кисло спросил тот, скрючившись в своем забитом пустыми жестянками из-под малинового йогурта закутке, где царил запах прокисшего молока и сигар.

— Мать заболела,— сказал Хью.

Сказав это, он побледнел и почувствовал, что на лице выступила испарина.

Управляющий уставился на него не то задумчиво, не то равнодушно. Он долго смотрел так и молчал, потом уронил: «О'кей» — и отвернулся.

Когда Хью вышел из кабинета управляющего, то пол и стены покачивались иплыли у него перед глазами. Мир стал каким-то маленьким и белым, как яичная скорлупа, как глазное яблоко. Ему было плохо. Ей плохо, да, плохо, и ей нужна помощь.

Но я же помогаю ей! Господи, что еще я могу для нее сделать? Я никуда не хожу, ни с кем не знаком, нигде не учусь, работаю рядом с домом, и она знает, где именно. Каждый вечер я дома, я провожу с ней все выходные,

и делаю все, что она просит,— что же еще я могу сделать?

Он знал, что обвиняет себя несправедливо, но сейчас это значения не имело. Это был суд над самим собой, и он ничего не мог с этим поделать. На душе по-прежнему было гадко, и голова все еще немного кружилась. Он с трудом управлялся с работой, все время делал глупые ошибки, выбивая чеки. Была пятница — тяжелый день. Он смог закрыть кассу только в десять минут шестого, только когда попросил Донну подменить его.

— Плохо себя чувствуешь, милый? — спросила она, когда он передавал ей ключ от кассы. Он не решился вновь называть ту же причину, опасаясь, как бы ложь не обернулась правдой.

— Не знаю даже,— сказал он.

— Побереги себя, Бак.

— Ладно.

Он пошел в подсобку, неуклюже натываясь на людей, заполнивших проходы. Забрал спрятанный в холодильнике спальный мешок и рюкзак и пошел по улице вовсе не на запад, а на восток, по направлению к фабрике красок, к заброшенным полям, к проходу туда. Он должен был туда попасть. Все будет хорошо, как только он окажется там. Его место там. Там он чувствует себя человеком.

Поля раскалились под солнцем как печь. Хью весь взмок, во рту пересохло, губы потрескались, но он упорно продвигался к лесу, а потом жара и дневной зной остались позади, и он начал спускаться по тропе вниз и переступил порог вечерней страны. Он положил свою ношу на землю и, как всегда, сразу бросился к источнику, встал на колени и вдоволь напился. Потом содрал с себя пропотевшую одежду и вошел в воду. «Ха!» — выдохнул он в каком-то болезненном экстазе; ощутил холод воды, толчки, силу и вращение придонных ключей, шероховатую поверхность скал, которых касался ступнями и ладонями. На глубоком месте он нырнул и дал течению подхватить себя, вода проникла в него, он сливался с водой — одна сплошная темно-

прозрачная радость, все остальное забыто.

Он вынырнул с залепленным волосами лицом, немного полежал на поверхности воды, видя над собой купол бесцветного, безоблачного неба, потом, чувствуя, что его уже до костей пробирает холод, поплыл к берегу и с плеском выбрался из ледяной воды. Он всегда входил в воду осторожно, с каким-то почтением, а вылезал оттуда с шумом, переполненный жизнью. Тщательно вытершись, Хью натянул джинсы, уселся перед своим рюкзаком и не спеша развязал его. Он разобьет лагерь, потом приготовит обед, под кустами устроит себе постель, будет лежать на густой траве и уснет под пение ручья.

Он проснулся и увидел над собой темные кроны деревьев, в носу стоял запах мяты и трав. Слабый ветерок касался лица и волос, словно чья-то темная прозрачная рука.

Это было странное, медленное пробуждение. Сны ему не снились, и все же он чувствовал, что выспался. Его охватило чувство уверенности в себе и полного, безграничного доверия ко всему вокруг. Он лежал, он спал на этой земле и был теперь ее частью. Ничего дурного с ним здесь случиться не может. Эта страна — его!

Он опустился на колени на плоской скале, умылся и стал разглядывать бледную траву на другом берегу ручья, темные заросли кустарника и кроны деревьев, четко вырисовывавшиеся на фоне ясного неба. Потом поднялся и босиком начал перебираться на тот берег, но не вброд, а прыгая с камня на камень, пока в последнем длинном прыжке не опустился на прибрежный песок. Здесь, чуть выше песчаного пляжика, тоже росла мята. Он, словно совершая ритуал, сорвал листок и стал его жевать. Мята на этом берегу была точно такая же. Никаких различий и никаких пределов не существовало. Все это была *его страна*. Но на этот раз он достаточно далеко зашел вглубь; пока дальше идти не стоит. Это покорное следование собственным внутренним импульсам и желаниям, полное отсутствие чьего бы то ни было внешнего влияния и давления тоже приносило радость.

В этой послушности себе, впервые с раннего детства вновь ощущенной здесь, была для него основа свободы, спокойствия и силы. Сейчас он решил не ходить дальше. Когда ему этого захочется, он пойдет. Все еще зажав в зубах листок мяты, он пустился в обратный путь, перескакивая с камня на камень широкими, уверенными прыжками.

Он оделся, аккуратно свернул свой спальный мешок и хорошенько спрятал его в ямку под кустом; потом пристроил рюкзак с едой в развилку дерева — он читал, что так следует делать, чтобы уберечь еду — но от кого? от медведей? от муравьев? от муравьедов? Во всяком случае, так ему казалось лучше, чем просто оставить рюкзак на земле. Он еще раз встал на колени, напился из источника и ушел.

Он добрался до Дубовой Долины в семь часов вечера того же дня, хотя отпросился и ушел с работы только в четверть шестого. Обедать мать не приготовила; она сказала, что готовить слишком жарко; они сходили в закусочную, съели по гамбургеру, а потом пошли в кино.

Он думал, что не сможет уснуть всю ночь, потому что выспался на берегу ручья, но лег и тут же крепко уснул, только утром проснулся чуть раньше и значительно легче обычного — было всего четыре тридцать, солнце еще не взошло, и царили другие, предрассветные сумерки. К тому времени, как он добрался до леса, солнце уже поднялось и светило вовсю в своем неотразимом летнем великолепии. Но он отвернулся от солнца и пошел по тропе вниз, в вечернюю страну. Он был спокоен и полон желания перейти на другой берег, исследовать, понять этот мир, непонятный и необъяснимый, — его мир, его страну. Он опустился на колени у прозрачной темной воды и испил ее. Подняв голову, раздумывая, куда бы теперь направиться, и вдруг на другом берегу, за излучиной ручья, над сверкающей поверхностью воды увидел квадратную дощечку, прикрепленную к столбу, врытому в землю. Черные буквы на белом фоне гласили: **ВНИМАНИЕ! ПРОХОДА НЕТ!**

Может, прохода теперь вообще больше не будет? Закрыт навсегда. Исчез. Вот оно. Случилось. Она пришла в лес Пинкуса, к тому месту, к самому порогу — и перед ней все те же пыльные заросли в дурацком дневном свете, дренажная канава и к тому же — колючая проволока у подножья холма. И никакой тропинки, ведущей вниз, никакого прохода. Бессмысленно снова и снова стараться пройти. Такое уже случалось, в первый раз это произошло два года назад, и она долго простояла там, где должен был быть проход, страстно желая, чтобы он открылся, требуя этого, приказывая. А потом пришла назавтра, и еще, и еще, и в последний раз просто рухнула на землю и отчаянно расплакалась. А когда через неделю снова пришла туда, проход был открыт, и она переступила порог так же легко, как обычно. Но теперь на это больше рассчитывать не могла. Она боялась, что прохода снова не будет, и месяцами даже попытки не делала пойти туда; глупо было бы снова вести себя как тогда. Все это время она чувствовала себя полной идиоткой, вставшей в детство; как ребенок, она играла в прятки сама с собой. Но на этот раз проход почему-то оказался на месте. Она переступила порог и попала в вечернюю страну.

Она осторожно шла вперед, словно опасалась, что землю у нее из-под ног могут выдернуть, как коврик. Потом упала на четвереньки прямо в грязь и стала целовать эту землю, прижимаясь к ней лицом, словно сосунок к груди матери. «Ну вот,— шептала она,— ну вот». И встала на ноги, и потянулась всем телом навстречу небу, и подошла к воде, преклонила колени, омыла руки, плечи и лицо, шумно фыркая и брызгаясь, напилась воды и ответила на ее громкое приветливое журчание: «Ну, здравствуй, это я». Потом по-турецки уселась на плоской скале и некоторое время сидела неподвижно, закрыв глаза, оберегая рвущуюся наружу радость.

Она так давно не была здесь, но вокруг все осталось неизменным. Ничто здесь никогда не менялось. Здесь царила Вечность. И здесь ей следовало вести себя так, как всегда она вела себя с тех пор, как еще девочкой — ей тогда было тринадцать — впервые обнаружила это место, начало начал, исток, еще до того, как впервые перешла на тот берег речки. Например, танцевать свой бесконечно долгий танец поклонения огню, как она танцевала тогда, зарыв под деревом с серым стволом выше по реке те четыре камня. Они, наверно, и до сих пор там. Разве мог кто-нибудь тронуть их? Четыре камня по углам квадрата — черный, серо-голубой, желтый, белый, а в центре она зарыла пепел от принесенной ею жертвы — фигурки, которую вырезала из дерева и сожгла. Все это, конечно, ерунда, детские игры. Впрочем, в церкви, например, люди тоже ведут себя довольно глупо. Но для того у них есть свои причины. Поэтому если захочется, то и она будет продолжать свои бесконечные ритуальные танцы. Нужно, чтобы все здесь продолжалось по-прежнему; здесь это самое главное, здесь ничто не кончается, все вечно. Здесь она делает что душе угодно. Здесь она может принадлежать самой себе, быть собой. Здесь она дома — нет, еще не дома, а на пути домой, наконец-то снова на этом пути, и теперь она может идти через реку, разливающуюся на три рукава, и дальше, вверх по склону темной горы — домой.

Она поднялась на ноги и, раскинув руки с опущенными, словно лепестки цветка, пальцами, станцевала на плоской скале танец огня или воды — быстрые, зыбкие, плавные движения, — танцуя, двинулась к берегу, к излучине и вдруг остановилась как вкопанная.

На песке, несколькими метрами ниже перехода на тот берег, кружком были выложены камни, и в центре кружка виднелось кострище.

Рядом, наполовину скрытые ветками бузины, лежали разные вещи: пакеты с едой, туристское снаряжение. Пластик, нержавейка, бумага...

Она бесшумно шагнула вперед: зола была еще теплая, чувствовался запах дыма.

Никто никогда не приходил сюда. Никто — никогда. Это место принадлежало ей одной. Проход существовал для нее, тропа — для нее, для нее одной. Кто там, спрятавшись, подсматривал, как она танцует, и смеялся над ней? Она обернулась, напряженная, готовая к прыжку, готовая сразиться с любым врагом. «Ну же, ну, выходи, раз уж ты здесь!» — крикнула она и задохнулась от страха, увидев огромную бледную руку, ползущую к ней по траве, — и в тот же миг поняла, что ужасная конечность — это всего-навсего спальный мешок, в котором под кустами на траве кто-то спит. Однако испуг оказался настолько силен, что она без сил опустилась на землю, дрожа всем телом, задыхаясь, и сидела, скорчившись, до тех пор, пока не отдышалась, пока не исчезла белая пелена, закрывавшая все перед глазами. Потом она снова осторожно поднялась на ноги и стала пробираться сквозь заросли прибрежного кустарника. Она была уверена лишь в том, что спальный мешок лежит неподвижно. Однако если идти дальше, то она неминуемо ступит на песок и оставит след. Она вернулась к плоскому камню, прямо с него шагнула в траву и, прячась в зарослях бузины, обошла полянку вокруг и устроилась в таком месте, откуда ей хорошо был виден вторгшийся в ее владения человек. Белокожее крупное лицо спящего ничего не выражало — безвольный подбородок, растрепавшиеся светлые волосы; рядом возвышался его рюкзак, словно мешок с отбросами, словно кучка собачьего дерьма, — и это на земле, которую она недавно целовала, на ее дорогой, любимой, волшебной земле!

Она стояла и не двигалась, как и спящий. Потом резко повернулась и пошла, быстрая, легкая, совершенно бесшумно ступая в своих теннисных туфлях, прямо к переходу через реку, к знакомой цепочке камней, приподнимающихся над веселой водой, потом вверх по тому берегу, все дальше и дальше от ручья по знакомой Южной дороге;

она шла словно на марше, не бегом и не трусцой, а просто ровно и быстро, даже очень быстро, легко оставляя позади километры пути. Она шла и смотрела только вперед, и в течение долгого времени в голове у нее не было ни одной ясной мысли, только отголоски пережитого ужаса и гнева, а когда и это прошло, осталась лишь иссушающая пустота, которую она так хорошо знала и которая имела много разных названий, но лишь одно казалось подходящим — тоска.

Не было для нее места, некуда было идти, негде жить. Даже здесь — ни места, ни покоя.

Но сама дорога, по которой она шла, уже говорила ей: *Ты идешь домой*. Кожу ласкал воздух волшебной страны, глаза любовались сумрачными ее лесами. Ритм ходьбы — то вверх, то вниз по склону, то через реку вброд, замедленное течение времени в этой стране уже успокаивали, утишали тоску, заполняли пустоту, возникшую в душе. Чем дальше уходила она по дороге в глубь сумеречной страны, тем больше ощущала свою принадлежность к этому миру, и вот погасли воспоминания о дневном свете и даже о том *захватчике*, спящем на берегу ручья; душа настраивалась на восприятие только того, что было вокруг и что ждало впереди. Леса становились все темнее, дорога — круче. Давно уже не приходила она в Город На Горе.

А путь туда долог. Она всегда забывала, как он на самом деле долог и труден. Когда она нашла дорогу туда, то в первое время обычно останавливалась передохнуть и поспать на берегу Третьей Речки у самого подножия Горы. С тех пор как ей исполнилось шестнадцать, она уже могла дойти до Тембреабрези без остановки, хотя это и было трудновато — все время вверх по темным склонам, все вверх и вверх, далеко, гораздо дальше, чем всегда казалось сначала. Когда она наконец вышла на прямой участок дороги перед последним поворотом, то страшно проголодалась, стерла ноги и они гудели от усталости. Но в этом-то и таилась вся радость путешествия *туда* —

добраться усталой, измученной, жаждущей пищи, тепла и отдыха и до замирания сердца радоваться светящимся в холодной вечерней дымке окнам на склоне Горы, чувствовать запах горящих в очаге дров, тот самый запах, который издревле шепчет человеку: *Дикие края остались позади, теперь ты дома!* И услышать, как тебя наконец-то называют по имени.

— Ирена! — воскликнула маленькая Адуван, игравшая на улице перед гостиничным двором. Сначала девочка немного растерялась, но потом заулыбалась и стала кричать подружкам: — *Ирена тьялохаджи!* (Ирена вернулась!)

Айрин обнимала и кружила девочку, пока та не завизжала от восторга, и тогда целая банда малышей — четверо! — начала приплясывать вокруг, вразной крича своими тонкими, нежными голосами, требуя, чтобы их тоже обняли и покружили, но тут со двора вышла Пализо — посмотреть, что за шум, и поспешила к Айрин, вытирая фартуком руки, спокойная, приветливая:

— Входи, входи, Ирена. Путь у тебя был долгий, ты устала.

Так она приговаривала и тогда, когда Айрин впервые пришла в Город На Горе. Ей тогда было четырнадцать, и была она голодная, грязная, усталая, испуганная. Она тогда еще совсем не знала их языка, но хорошо поняла то, что сказала ей Пализо: *Входи, детка, входи в дом.*

В большом камине горел огонь. По всей гостинице распространялся восхитительный аромат жареного лука, капусты и разных специй. Все здесь было таким, как раньше, каким и должно было быть, хотя кое-какие приятные изменения все же произошли: полы были покрыты красной соломенной циновкой, а не посыпаны, как обычно, простым песком.

— Ой как хорошо, так гораздо теплее! — сказала Айрин, и Пализо, польщенная, озабоченно ответила: — Да вот не знаю еще, прочные ли эти циновки. Давай-ка зажжем лампу вот тут, поближе к камину. Софир! Ирена пришла!

Поживешь у нас немножко, *леваджа*?

Детка, вот что означало это слово, *дорогая детка*; они и к именам собственным прибавляли уменьшительный суффикс «-аджа». Ей очень нравилось, когда Пализо так ее называла. Она кивнула, уже решив про себя, что проведет здесь двенадцать дней,— там, за порогом, пройдет всего одна ночь, двенадцать часов. Она пыталась подобрать слова и не сразу смогла задать свой вопрос, потому что уже несколько месяцев не говорила на их языке.

— Пализо, скажи мне, с тех пор как я была здесь, кто-нибудь еще приходил по Южной дороге?

— Ни по одной из дорог никто не приходил,— сказала Пализо. Ответ был немного странный, голос звучал спокойно, но мрачно.

Потом из кладовой пришел Софир, в густых темных волосах которого запуталась паутина. У него был низкий, звучный голос, а тело одинаково широкое от плеч до бедер — словно ствол дерева; он обнял Айрин и стал трясти обе ее руки в своих, радостно гудя:

— Давненько, давненько не виделись, Иренаджа! Пришла, значит, все-таки!

Айрин отвели ее любимую комнату, и она помогла Софиру принести наверх дров для камина. Он затопил камин, и в комнате сразу стало тепло и приятно, исчез запах нежилого помещения. Кроме нее, других постояльцев в гостинице не было. Само по себе это ничего особенного не значило, но она начала замечать и другие признаки того, что в гостинице теперь останавливалось очень и очень мало путешественников и торговцев. Большие оловянные пивные кружки висели в ряд вдоль стены, и сразу было видно, что их давненько оттуда не снимали и не использовали, как бывало на шумных вечеринках торговцев или перекупщиков тканей, приходивших из долины. Она пошла посмотреть, сколько сейчас лошадей в конюшне, но там не было ни одной, стойла и кормушки были пусты. Несмотря на то что Софир отлично готовил, ужин был бед-

ный, и совсем не подали восхитительного пшеничного хлеба, который Софир раньше так здорово пек, а только густую овсяную кашу темного цвета — из того сорта овса, который выращивали здесь, на Горе. И Софир с Пализо, казалось, чем-то озабочены или огорчены, но сами они так ничего прямо и не сказали о том, что дела идут неважно, а Айрин решила, что не должна спрашивать про дела. Для них она все еще была «деткой», желанной и балованной, потому что не имела отношения к их делам и заботам. И для нее их общество всегда раньше было праздником сердца; а вот теперь — она просто не знала, как можно все это изменить. Поэтому они, как всегда, болтали о всякой всячине, и единственным действительно важным для всех троих сейчас было то, что они любят друг друга.

После ужина в гостинице собралось несколько человек — скоротать вечерок. Софир устроил для мужчин что-то вроде бара в большой гостиной. Женщины окружили Пализо, усевшись в уютной комнатке возле кухни. Пили местное пиво и болтали; старая Кади притащила граммов сто яблочного бренди. Айрин понемножку прихлебывала пиво, довольно-таки крепкое, и помогала Пализо шить лоскутное одеяло. Вообще-то она терпеть не могла шить, но работать вместе с Пализо было давнишним ее удовольствием, именно тем делом, о котором она потом вспоминала с наслаждением там, за порогом. Лоскутки разноцветной мягкой шерстяной ткани, свет лампы, огонь в камине, длинное, суровое и одновременно нежное лицо Пализо, тихие голоса женщин, старушечьё хихиканье Кади, шум мужской беседы, доносящийся из гостиной, ее собственное дремотное состояние, обволакивающий покой старого огромного дома и тишина городских улиц и окрестных лесов.

Когда в доме зажигали лампы, опускали шторы и закрывали ставни, всегда казалось, что на улице ночь. Айрин не открывала ставен в своей комнате, пока не просыпалась, и тогда неизменные сумерки за окном казались ей неясным светом зимнего утра. Так называли это время и жители

города и произносили слова «утро», «полдень», «ночь». Айрин выучила эти слова на их языке, но не всегда легко и естественно могла их произнести. Какое значение имели они здесь, в стране вечных сумерек? Но она не могла спросить об этом ни Пализо с Софиром, ни Триджьят, мать девочки Адуван, и вообще никого из тех женщин, которых любила; ее вопросы звучали для них непонятно; они смеялись и говорили: «Утро приходит раньше полудня, а день сменяется вечером, детка!» И всегда веселились, слушая, как неуклюже управляется она с их родным языком, и всегда готовы были помочь ей, подсказать, но только не отвечать на ее странные вопросы о том, что казалось им самим безусловным. И не было в Городе На Горе никого, кто мог бы поговорить с ней о таких вещах, кроме Хозяина Города. И она частенько думала о том, как наконец спросит у него, почему здесь не бывает ни дня, ни ночи, почему солнце никогда не восходит, и все же на небе не видно звезд, и как все это вообще может быть. Но она так ни разу и не задала ни одного из этих вопросов. Какими словами в их языке обозначаются солнце и звезда? И если она спросит: «Почему здесь никогда не бывает ни дня, ни ночи?» — то это прозвучит глупо, потому что день здесь означает, что пора вставать, а ночь — что пора ложиться спать, и они встают, работают и ложатся спать, как и люди по ту сторону порога. Она могла бы начать свои объяснения, например, так: «Там, откуда я пришла, в небе есть большой круглый очаг...» — но это, во-первых, прозвучало бы как речь пещерного человека из голливудского фильма, а во-вторых, и это самое главное, она никогда не говорила о том, откуда пришла. С самого начала, с того момента, как впервые переступила порог, впервые перешла вброд через Первую Речку, впервые появилась в Городе На Горе, Айрин знала, что ни там, ни здесь нельзя говорить о том, что лежит за порогом. Нельзя говорить им, откуда ты пришла, пока они сами не спросят. Но никто ни там, ни здесь так никогда об этом и не спросил.

Она была убеждена, что кое-что о существовании про-

хода Хозяину Города известно. Возможно, значительно больше, чем она предполагает; во всяком случае, она хотя и смутно, но все же надеялась, что он знает обо всем этом гораздо больше, чем знает она, и когда-нибудь, если захочет, объяснит ей. Но спросить она не осмеливалась. Время для этого еще не пришло. Она до сих пор слишком мало знала о волшебной стране, разве что Южную дорогу и сам Город, да еще немного — о его жителях, об их занятиях, шутках, ремеслах, сплетнях и манерах, и ей не надоедало узнавать об этом все больше и больше и учиться их языку, на котором она вообще-то иногда болтала совершенно свободно, а иногда совсем не понимала сказанного. И всегда за уютными пределами домашнего очага в этом городе таились сумерки и тишина, необъяснимое и неизведанное. Ей это нравилось. Она мечтала, чтобы здесь ничто никогда не менялось. Но на этот раз, уже в самую первую ночь, в самый первый вечер, сидя со всеми вместе у камина, она почувствовала, что круг разомкнулся и внутри него больше не безопасно. И пусть ей и им тоже хотелось, чтобы она по-прежнему оставалась «их деткой», ребенком она больше не была.

После завтрака она сходила к Триджьят, а потом прогулялась с ее детьми, Адуван и младшим мальчиком, к сапожнику, жившему на другом конце города, — отдать в починку нарядные туфли Триджьят. Девочка всю дорогу болтала без умолку, а малыш, вторя ей, стрекотал как сверчок. Головки их были забиты какой-то фантастической чепухой вроде длинной сказки о привидениях, которую кто-то им рассказал, и они все спрашивали Айрин, не страшно ли ей было на горной дороге. Малыш Вирти убежал вперед, прятался за чье-нибудь крыльцо и выскакивал оттуда ей навстречу с устрашающими воплями, сильно напоминавшими треск вспугнутого сверчка, и она старалась не отставать и тоже издавала соответствующие вопли и стоны, изображая испуг. «Ты должна упасть на землю!» — сказал Вирти, но падать она отказалась.

Выполнив задание Триджьят и препоручив детей бабушке,

она свернула с главной улицы города на самую крутую дорожку, узкую и извилистую, ведущую вверх по склону горы. Улочка настолько круто шла вверх, что временами, в сущности, по ней приходилось карабкаться как по лестнице с высокими неровными ступенями, вдруг сменявшимися относительно равномерный подъем; улочка вела себя как нервный человек, который то начинает безудержно хихикать или икать, то берет себя в руки и некоторое время держится вполне пристойно, а потом все начинается снова. На самом верху виднелась стена, окружавшая замок с садом, и в ней ворота; арка ворот красиво вырисовывалась на фоне ясного неба. Немного не доходя до стены замка, Айрин свернула направо и на мгновение остановилась, глядя на дом Хозяина Города.

На фоне неба виднелись четкие углы бесчисленных коньков крыш и слуховых окон; окна — фонарем, или эркером, с тесными переплетами — все находились на разных уровнях, и по ним невозможно было понять, сколько в доме этажей, представление об этом давали только три несущие балки, видимые с фасада. Дверь была массивная, с наборной плитой из двенадцати пород дерева и бронзовым диском. Когда она взялась за тяжелое кольцо и ударила им по диску, то вдруг вспомнила, что там, по ту сторону, часто видела эту дверь во сне.

Фимол, домоправительница, прямая, в неизменном сером платье с высоким воротом, длинными рукавами и длинной юбкой, отперла тяжелую дверь и впустила посетительницу в дом. Фимол никогда не улыбалась, и Айрин всегда втайне побаивалась ее. Следуя за домоправительницей, она с неприличной, предательской радостью заметила, что волосы у той поседели, а прямая, гордая спина выглядит теперь худой и костлявой — спиной стареющей женщины.

Они вошли в гостиную. Это был центр дома, его главная комната. Высокие потолки. Одна стена обшита дубом, а противоположная двенадцатью выступающими окнами в свинцовых переплетах выходит на расположенный терра-

сами по склону горы сад. Немногочисленная мебель вся из резного дуба, местного изготовления ковры кремовых, оранжевых и коричневых тонов создают теплоту и уют, даже если в комнате не горят свечи и она освещена лишь неизменным сумеречным светом, льющим из окон. У каждой торцовой стены огромный камин из камня, и над каждым, значительно выше каминной доски, портрет; на одном чопорная, меланхоличного вида дама смотрит черными круглыми глазами через весь зал на своего мужа и хозяина, который прячет кисть изуродованной правой руки за пазухой и мрачно поглядывает на жену.

Сейчас справа от дальнего камина, над которым висел портрет мужчины, возле двери в свой кабинет стоял Хозяин и разговаривал с каменотесом Гайяром. Заметив Айрин, входящую в гостиную в сопровождении домоправительницы, он посмотрел на нее так же мрачно, как старик на портрете; потом выражение его лица переменялось; он отвернулся от Гайяра и быстро пошел через длинный зал к ней навстречу, протягивая руки: — Ирена! Ты пришла!

В своих мечтаниях она так и представляла себе эту встречу, однако никак не ожидала такого радушия; хотя не удивилась и тому, что последовало потом.

Хозяин, или мэр Тембреабрези, был худощавым смуглым человеком с ястребиным носом и темными глазами. Он одевался в черное — грубые, но аккуратно сшитые и подогнанные по фигуре штаны, домотканая блуза и скюртук. Суровый, непонятный, загадочный человек. Она полюбила его с первого взгляда.

Он провел ее из гостиной в свой кабинет, где в камине горел огонь, а шторы на окнах были опущены, словно защищая комнату от серого света зимнего дня, проникающего снаружи. Он придвинул стул и помог ей усесться поудобнее, как бы отдавая должное ее наряду, вполне соответствующему обстановке, — темно-красной юбке и домотканой блузке, которые Пализо приберегала специально для нее. В этом наряде она здесь ни капельки не стесня-

лась. Хозяин встал у высокой конторки, за которой обычно работал — он вообще сидел редко,— и внимательно поглядел на нее. Она глубоко вздохнула и молча ждала, сложив руки на коленях.

— Давно тебя не было, Ирена.

— Я не могла прийти.

— Дорога?..

— Я не могла... найти...— И слова тоже что-то не находились, те, единственно необходимые сейчас.— То место...— сказала она и потом, вспомнив, как они называли каменную арку в стене, окружавшей замок, наконец выговорила: — Вход, ворота. Ворота были закрыты.

— Значит, ты не смогла пройти по дороге,— произнес он, не выказывая ни малейшего нетерпения из-за ее дурацкого заикания, но как-то необычайно напряженно.

— Когда я... когда я сумела наконец выйти на дорогу, то идти по ней могла. Но сначала...— она опять запнулась.

— Ты боялась.

Его голос звучал мягко; она никогда еще не слышала, чтобы он так мягко говорил с кем-нибудь.

— Когда я нашла проход и переступила порог... мне так долго это не удавалось!.. то там, прямо сразу, у реки был...

Он произнес какое-то слово, едва слышно, почти шепотом. Это было то самое слово, которое выкрикивал маленький Вирти, когда изображал чудовище, а она, Айрин, не хотела падать на землю, а Адуван все ругала Вирти: «Замолчи, не смей про это говорить!», и оба малыша были ужасно возбуждены, чуть не плакали. Огромная, бледная, странной формы рука, ползущая к ней по траве...

— Человек,— сказала она.— Чужой человек.

Хозяин слушал, внимательный, настороженный.

— Другой человек, вроде меня. Нет, не точно такой, как я, а...— она не знала, как это выразить словами. Хозяин, видно, понял ее и кивнул.

— Ты с ним говорила?

— Нет. Он спал. Я ушла. Я не хотела — я боялась...—

она снова запнулась. Она не могла ему объяснить той первой вспышки панического ужаса. Ему, конечно, понятно, почему вообще одинокая женщина в лесу могла испугаться незнакомого мужчины. Но теперь она не в состоянии была выразить ту особую охватившую ее ярость и тот страх при виде незнакомца, огромного, спящего, и кучи пластикового барахла рядом с ним. Она чувствовала себя так, будто ее тайну внезапно раскрыли и теперь ей грозит опасность. Айрин стиснула руки, лежавшие на коленях, и снова вступила в борьбу с чужим языком, подыскивая нужные слова, заставляя себя говорить.

— Если он нашел ворота, то их могут найти и другие. Там — там много других людей...

Если Хозяин и понял, что она имела в виду под словом «там», то в ответ только нахмурил брови.

— Вам нужно охранять свои стены, Хозяин! — сказала она в отчаянии. Она бы сказала «границы», но не знала такого слова на его языке и вообще ни одного подходящего слова, которое могло бы обозначать границу или ограду. Только слово, обозначающее деревянную или каменную стену.

Он кивнул, но сказал: — Никаких стен нет, Ирена. Но для нас — теперь — нет и выхода.

Что-то в его голосе заставило ее промолчать. Он отвернулся к своей конторке, потом прошелся по комнате с тем же каким-то нарочитым спокойствием.

— Мы не можем ходить по дорогам. Они закрыты. Ты знаешь, что некоторые из них закрыты для нас уже давно. Южной дорогой — твоей дорогой — мы, как ты знаешь, уже давно не пользуемся.

Она об этом не знала и непонимающе уставилась на него.

— Но у нас еще оставались летние пастбища, и Верхний Перевал, и все восточные дороги, и Северная дорога. Теперь нет ни одной. Никто не приходит сюда из Трех Источников или из деревень, что под Горой. Ни торговцы, ни купцы. Никто из долин. Никаких вестей из Столицы.

Еще недавно можно было подняться в западном направлении по горным тропам; теперь — нет. Все ворота Тембреаб-рези закрыты.

Там не было таких ворот, которые можно было бы запретить. Только главная улица, которая выходила прямо на Южную дорогу, и тропы, ведущие вверх и вниз по склону Горы — на запад и на восток от города,— но они совершенно открытые, там нет никаких ворот или заграждений.

— Это Король запретил вам пользоваться дорогами? — спросила Айрин, совсем растерявшись и ничего не понимая, и сразу же пожалела о собственной опрометчивости. В конце концов их язык она всегда изучала иначе, чем, например, испанский в колледже; *ла каса* — «дом», *эль рей* — «король»... Слово *редьяйи*, которое, по ее мнению, значит «король», совсем не обязательно имело такое значение; и у нее была только одна возможность узнать, что именно оно значит: слушать, как это слово употребляют они сами, а они его употребляли не часто, разве что когда говорили о Столице, называя ее «Городом Короля». Возможно, виноват был год ее занятий испанским и приставка «ре-», из-за которой она и решила, что слово *редьяйи* означает «король». Убедиться в правильности этого у нее возможности не было. И теперь она боялась, что сказала нечто совсем несуразное, даже кощунственное. Хозяин стоял, отвернув от нее свое смуглое лицо и положив стиснутые руки на конторку. Он, возможно, даже не слышал ее вопроса.

— Этот незнакомец... — начал он, оборачиваясь, но не глядя на нее, очень тихим, но твердым голосом. И тоже запнулся.

— Может быть... это просто ошибка... он мог заблудиться... Какой-то бродяга... — она хотела сказать «путешественник», который просто переночевал в этом месте и не заметил ничего особенного; может, он и порога никакого не переступал и так и ушел на следующий день, проголосовал на шоссе и уехал в город, он ведь явно не здешний. Она

хотела все это сказать, но не находила слов. Теперь она была уверена, что так оно и есть. Что именно эта истина ей и требовалась, да и Хозяину, по всей видимости, тоже, потому что он понял ее с полуслова и с явным облегчением. Возможно, ее слова и не полностью его убедили, но поселили в душе желанную надежду. Наконец он посмотрел прямо на нее и улыбнулся. Улыбка редко появлялась на его лице и оказалась очень доброй, хотя и мимолетной.

— Я уж и не надеялся, что ты вернешься, Ирена,— мягко сказал он. Если бы она могла, то непременно сказала бы: «Я всегда любила вас». Но она не могла говорить об этом, да и не было необходимости. Он и так знал свою силу. Он был Хозяином.

— Останешься у нас? — спросил он.

Интересно, он имел в виду «навсегда»? Тон у него был сдержанный; она не чувствовала уверенности в том, что он именно это хотел сказать.

— Так долго, как смогу. Но я должна вернуться.

Он кивнул.

— А если потом, когда я попробую снова прийти, ворота снова окажутся закрытыми?..

— Я думаю, для тебя они откроются.

Странные были у него глаза — как черные дыры; что бы он ни говорил, выражение этих словно обращенных внутрь себя глаз не менялось.

— Но почему...

— Почему? Когда знаешь ответ, то и вопроса не существует, а если ответа не существует, тогда и вопроса быть не должно.

Это прозвучало как пословица, и сказал он это сухо и чуть насмешливо; вот так он обычно и разговаривал с ней; то, что он снова заговорил таким тоном, успокоило ее.

— Это твоя дорога,— сказал он. И снова отвернулся к конторке, пробормотав почти безразличным тоном:— Южная дорога и Северная.

— Разве я могу пойти на север? Если что-то случилось... могу ли я пойти и позвать на помощь?.. отнести послание?..

— Не знаю,— сказал он и мельком глянул на нее, но взгляд его вспыхнул не то одобрением, не то торжеством, и именно этот отблеск остался в ее памяти, и она думала об этом после, когда он, согласно обычаям дома, повел ее поздороваться со своей матерью и они немного, чисто светски, с ней побеседовали; думала, уже покинув его дом и зайдя к Триджъят, где и пробыла до вечера. «Впервые,— думала она,— ему что-то нужно именно от меня». Существовало нечто такое, что могла дать ему только она,— если сможет понять, что же ему нужно. Похоже, она попала почти в точку, когда заговорила о Северной дороге. Он сразу же перевел разговор на другое, но она успела заметить, как в его глазах блеснуло удовольствие и одобрение.

Если б только она могла лучше понимать его! Над его шутливым замечанием о вопросах и ответах надо хорошенько поразмыслить. Он, и она, и все остальные здесь подчинялись законам этой страны, столь же абсолютным, как закон притяжения; и законам этим столь же невозможно было не подчиниться, как и объяснить их. Хозяин и раньше говорил ей, если она вообще правильно его понимала, что никто из жителей Города не может больше выйти за его пределы, то ли повинувшись какой-то силе, то ли из-за чьего-то запрета. Но ведь вполне возможно, что ей-то, раз она приходит в Тембреабрези, удастся оттуда и выйти? Или, может быть, он имел в виду то, что, будучи чужой в этой стране, она независима от ее законов и не обязана им подчиняться? Может быть, он именно это имел в виду? Зато ему она бы подчинилась. Он — для нее главный закон, и если бы только она могла порадовать его, если бы только могла найти то, что он хочет! Если бы только он попросил ее так, чтобы она поняла!..

На этот раз она пробыла в Городе На Горе дольше обычного. В прежние времена она приходила туда часто, но

ненадолго; теперь же, когда она могла бы спокойно провести здесь неделю или две — ночь или выходной целиком по ту сторону порога,— проход почти всегда был закрыт для нее. Всей душой она стремилась к одному — видеть его открытым. Но сейчас она здесь, живет, как всегда, в гостинице, помогает Софиру и Пализо, ходит в гости к друзьям, играет с их детьми. Все по-прежнему усаживают ее с собой за стол или приглашают поработать вместе, если заняты работой,— все снова так, как тогда, когда она всем своим существом ощущала, что она дома, и уже от этого была счастлива. Отблеск тех счастливых дней и теперь еще радовал ее. Но его было уже недостаточно. Теперь ей казалось, что все вокруг покрыто каким-то налетом фальши или притворства. Ощущение покоя и уюта по-прежнему исходило от этих людей, но предназначено было не для нее. Это не ее дом. Она пришла сюда и снова уйдет, она не принадлежит к их жизни. Им не нужна ее помощь в работе. Не нужна и она сама.

Разве что, как сказал тогда Хозяин Города — а действительно ли он это сказал? — она может помочь им иначе, не тем, что, любя этих людей, приходит сюда и живет среди них, а тем, что пойдет по своей дороге дальше, за пределы Города.

Пока что никто, кроме Хозяина, вообще никогда не говорил о том, что в Городе На Горе неладно, и она поначалу мало об этом задумывалась. Позже, когда заметила сама, что в город почему-то и впрямь никто не приходит и никто из него не уходит, что овец пасут только на ближних пастбищах, что в Городе не хватает соли, пшеничной муки, что Триджьят, потеряв удобную швейную иглу, очень расстроилась и искала ее несколько дней... так вот потом, заметив это и многое другое, она поняла: то, на что раньше намекал Хозяин, правда — все дороги закрыты. Но почему? И кем? Или чем? Она раза два-три пыталась поговорить об этом с Триджьят и с Софиром, но те избегали ответов на ее вопросы — Софир с дурацким смехом, Триджьят с та-

ким неприкрытым ужасом, что Айрин поняла: она не сможет вновь заговорить с ними на эту тему. Это было какое-то табу или столь ужасная тайна, упоминать о которой вообще было нельзя. И они разговаривали теперь только о повседневных заботах и делали вид, что все в порядке. Именно в этом и заключались та фальшь, которую она почувствовала, и все усиливающаяся неловкость. Им действительно нужна была помощь, но они не желали этого признавать.

А что, если пойти дальше, за Тембреабрези, на север и спуститься в долину?

Года два тому назад, когда по ту сторону порога тянулось бесконечно длинное воскресенье, она отправилась вместе с Софиром и старым купцом Гобимом, у которого была куча помощников и караван крошечных осликов, груженых шерстью и шерстяными изделиями, сначала в одну деревню — на расстоянии примерно дня ходьбы от Тембреабрези на север, через отрог Горы,— а потом на северо-восток, в город, который назывался Три Источника и был расположен на холмистой предгорной равнине; они два дня торговали там, а потом вернулись назад — путешествие заняло всего шесть дней. Она помнила то место, где дорога к Трем Источникам резко поворачивает к востоку, а дорога на север идет прямо, к темнеющему вдаль перевалу. Сколько времени нужно, чтобы отсюда спуститься в долину? И как долго придется идти через долину к Столице? Она не имела об этом ни малейшего понятия; конечно, идти пешком придется много дней, но она, во-первых, может взять еды с собой, и, во-вторых, по дороге, конечно, будут встречаться деревни и города, и она наверняка сможет добраться по бескрайним сумеречным долинам до этой Столицы и попросить помощи для Тембреабрези. Если оттуда еще пошлют ее, эту помощь. А может, она тоже не имеет права ходить по дорогам? Нет, ей не смеют запретить это. Если Хозяин Города попросит ее пойти, она пойдет.

Он все не посылал за ней, и в Айрин росло нетерпение и беспокойство. Она не могла понять своих здешних друзей, которые вроде бы как ни в чем не бывало занимались своими делами и никогда не говорили о том, что неладно вокруг них, совсем как те раковые больные, которые уверяют окружающих, что у них все прекрасно и они совершенно здоровы, совсем как ее мать, которая вечно твердит: «Все в порядке». Она не хотела вспоминать об этом здесь, ей была отвратительна сама мысль о том, что приходится и здесь об этом думать. Но почему же они молчат? Почему ничего не делают? Чего они ждут?

Наконец Хозяин Города пригласил ее на прием. Случалось, ее приглашали на такие приемы и раньше. Деловые разговоры о торговле вовсю велись в гостинице, в общем зале, но решения, затрагивающие более серьезные проблемы, принимались во время неторопливых, долгих бесед в зале с двумя каминами, когда совещающиеся задумчиво скребли подбородки и размышляли вслух. Приходили как мужчины, так и женщины, и часто, хоть и не всегда, сам Лорд, хозяин замка; приглашались и прибывшие из других городов, если их считали людьми важными и достойными. Мать Хозяина, Дреморне, седовласая и темноглазая, как королева сидела в бархатном кресле под портретом старца с высохшей рукой. Если гости были немногочисленны, то большая их часть собиралась вокруг нее, а у другого камина тем временем шли частные беседы; когда же гостей собиралось достаточно много, в каждом конце зала формировалось по группе. На этот раз тихий кружок женщин и несколько молодых мужчин собрались возле бархатного кресла, а трое или четверо пожилых мужей торжественно выстроились рядом с Хозяином у противоположного камина. Разумеется, в этот вечер здесь не было чужих, кроме Айрин. Она не отходила от Дреморне до тех пор, пока Хозяин сам не подошел и не показал взглядом, что прибыл Лорд Горн.

Дреморне чуть приподняла свои юбки и в глубоком ре-

верансе склонилась перед именитым гостем, после чего перед ним с реверансами прошли все остальные женщины. Лорд Горн, тощий, седой, чопорный старик, коротко поклонился своим негнушимся телом в ответ на приветствия. Даже после этого тщательно подготовленного и чрезмерно пышного церемониала, по какой-то прихоти устроенного старой хозяйкой дома, ничто не дрогнуло в холодных складках его лица. За ним тенью следовала дочь, светловолосая, одетая в шелка блеклых тонов; она поклонилась, призрачно-бледно улыбнулась, и они оба проследовали дальше. Их обязанность, подумала Айрин, только в том и заключается, чтобы принимать поклоны и кланяться в ответ. Номинальные правители. Пустые титулы. У Города один Хозяин: тот, кого так и зовут *Доу Сарк*. Но здешние люди отличались старомодностью и придерживались давнишних правил и традиций, а потому считали, что правитель у них быть просто обязан.

Хозяин снова глянул на нее, проходя мимо, и она поспешила за ним следом. У второго камина группа горожан, прежде квакавших, точно лягушки в болоте, теперь торжественно расступилась, пропуская вперед важных гостей. Лорд Горн, с отсутствующим выражением лица и, по всей видимости, без всякого интереса, слушал то, что ему говорил Хозяин. Дочь Горна теперь сидела, выбрав в полном соответствии со своей сущностью самый неудобный в комнате стул — жесткий, с высокой спинкой, обитый потускневшей парчой. Она сидела прямая как штырь и совершенно бесстрастная. Рядом с ее пастельной безжизненностью и ледяной холодностью Горна лицо Хозяина казалось одновременно ярким и темным, словно горячие угли в камине.

— Хозяин Города сказал мне... — обратился Лорд Горн к Айрин и вдруг замолк, глядя на нее как бы издали, как бы с далекой башни своего замка, где такие тусклые стекла, что сквозь них вообще трудно что-либо как следует разглядеть, — Сарк сказал, что ты встретила на Южной до-

роге другого путешественника.

— Я видела какого-то мужчину. Но с ним не говорила.

— Почему,— сказал Лорд Горн и снова умолк, как бы собирая свои медлительные холодные слова воедино,— почему же ты с ним не поговорила?

— Он спал. Он... он не отсюда...— Ей ужасно не хватало слов, она лихорадочно уцепилась за первое попавшееся.— Это был вор.

Снова наступила долгая, мучительная пауза. Серые глаза Лорда Горна, наводившие ее на мысль об окнах в далекой башне замка, больше не смотрели на нее; но он снова заговорил:

— Как ты об этом узнала?

— Вид у него был такой,— сказала она и сама почувствовала, что голос ее звучит вызывающе, с тем же обвиняющим гневом, какой она испытала, увидев того *захватчика*, и каждый раз испытывала, когда вспоминала о нем. Какое это старик имеет право задавать ей вопросы? Ну и что ж, что он лорд, и черт с ним, и пусть катится куда подальше!

— Ты думаешь, что этот человек не был...— долгое молчание, словно у Горна постоянно иссякал запас слов,— не мог быть тем самым, тем человеком, который...

— Я не понимаю.

— Тем, кого мы ждем,— сказал Горн.

Тогда Айрин заметила, что все они стоят вокруг и смотрят на нее, что их лица, усталые, грубые лица зрелых и пожилых мужчин, напряжены и выражают мольбу — мольбу о правдивом ответе, о слове, вселяющем надежду.

Она взглянула на Хозяина, ища поддержки, подсказки. Лицо его было печально и непроницаемо. Покачал он незаметно головой или ей это показалось?

— Тот, кого вы ждете?..— повторила она.— Я не понимаю. Чего вы ждете? Почему нужно ждать? Я могу пойти.— Она снова посмотрела на Хозяина; теперь его глаза ответили на ее взгляд, а выражение все еще непроницаемого лица потеплело: она говорила то, что он хочет.— Если

никто из вас не может пройти по дорогам, пошлите меня. Я могу передать послание. Может быть, мне удастся привести помощь. Почему вы должны ждать кого-то еще? Ведь я уже здесь! Я могу пойти в Столицу...

Она перевела взгляд с Хозяина на Лорда Горна и загнулась, увидев его лицо.

— Долог путь до Столицы,— сказал он своим тягучим тихим голосом.— Куда дальше, чем ты думаешь. Но мужество твое заслуживает всяческой похвалы. Благодарю тебя, Ирена.

Она стояла смущенная, утратив весь свой пыл, и молчала; Хозяин, хмурия брови, увел ее, и только тогда до нее дошло, что беседа с Повелителем Горы окончена.

Одна в своей комнате, рано утром, прежде чем начать собираться в обратный путь, она растворила ставни и стала смотреть на сонные сумерки, плывущие над городскими крышами и трубами каминов. Тело еще хранило тепло постели, она бы еще поспала, она бы еще пожила здесь. Неужели, когда она уйдет, проход вновь закроется? Когда она сможет снова вернуться назад и сможет ли? Сейчас ей надо было уходить по причине страшно далекой и совершенно бессмысленной: она отсутствовала всю ночь и к тому же если не вернется домой к семи утра, то опоздает на работу... Работа, квартира, ночь, утро — ни одно из этих понятий не имело здесь смысла. Ничего не значащие слова. И все же этим вещам, какими бы бессмысленными они ни казались, приходилось подчиняться, как подчинялись загадочному закону жители Города На Горе, боявшиеся покинуть его пределы. Они не должны этого делать. И потому должна уходить она.

Как всегда, Пализо и Софир встали, чтобы позавтракать вместе на прощанье, и Софир приготовил сверток с хлебом и сыром, чтобы ей было чем подкрепиться на долгом пути. Они тревожились за нее и не могли этого скрыть. Она ясно видела, что они за нее боялись.

Перед поворотом Айрин один раз оглянулась. Окна городских домов светились слабыми золотыми огоньками на темном лесистом склоне Горы. За ее отрогом, на севере, она вдруг заметила яркую звезду, вспыхнувшую в небе и исчезнувшую, словно капля дождя или блеск слюды в песке.

Перейдя через Среднюю Речку, она поела хлеба с сыром и напилась студеной воды; немного передохнула, но решила не спать, хотя ей очень этого хотелось,— не было времени; и пошла дальше. В лесу она не чувствовала никакой угрозы, ничто не пугало ее, но отдыхать там она бы все равно не стала. Надо было идти дальше. И она продолжала идти своим легким, быстрым шагом и наконец достигла последнего подъема и развилки дорог между красноствольными елями, откуда начинался спуск по пологому склону сквозь заросли рододендрона к источнику и к проходу,— и тут, прежде чем перейти на тот берег, она снова увидела почерневшее кольцо камней вокруг кострища, пластиковый чехол, полускрытый травой, мерзкие следы стоянки *захватчика*.

Она тут же метнулась назад, в заросли, и из своего укрытия стала наблюдать, что будет дальше. Самого мужчины нигде не было видно. Биение сердца начало понемногу успокаиваться, но лицо горело, а в ушах стоял звон. Она перебралась через ручей и подошла к кострищу — холодное; один за другим пошвыряла камни в воду. Подобрала рюкзак и спальный мешок в чехле, еще раз обернулась к реке и, шепча себе под нос: «Пошел вон, вон отсюда!» — потащила все это за порог, вверх по тропинке, и бросила в лесу прямо в заросли ежевики. Потом помчалась на опушку леса, откопала в канаве доску со словами «Охота запрещена», давно уже оторванную от столба и полусгнившую, которую ее глаза — или рассудок? — автоматически приметили двенадцать дней — или часов? — назад, когда она проходила этим путем. Держа в руках доску, она бегом бросилась назад, к порогу. Уже переступив через него, по-

думала: «А что, если б я не смогла пройти?» — но никакого страха или тревоги при этой мысли не испытала. Она была слишком рассержена, чтобы бояться. Отыскала в разоренном кострище уголек, перешла на другой берег и усеялась на камень, положив доску на колени. Аккуратно, черными печатными буквами вывела на ребристой, выбеленной дождями фанерке: **ВНИМАНИЕ! ПРОХОДА НЕТ!**

Она укрепила знак на берегу, на самом видном месте, чтобы сразу бросался в глаза каждому, кто переступит порог. Столб, довольно легко вошедший в песок, покачивался, и она стала искать подходящий камень, чтобы вбить его покрепче, но тут заметила на противоположном берегу какое-то движение. Айрин замерла, глядя туда поверх сверкающей воды, и увидела того самого человека. Он спускался прямо к ней от порога. Их разделяла сейчас всего лишь полоска воды.

Он опустился на том берегу на колени, склонился к воде и стал пить. Только тут она поняла, что он ее не заметил.

Она была достаточно близко от густых зарослей рододендрона и, чуть пригнувшись, одним плавным движением исчезла за ними, скрыв в их тени и листе свою белую рубашку и бледное лицо. Когда Айрин вновь отыскала взглядом того человека, он стоял на противоположном берегу и смотрел — смотрел на знак, разумеется, на ее знак. Сердце у нее подпрыгнуло, а губы раскрылись в беззвучном смехе.

Стоя он выглядел крупным, массивным, таким же, как тогда, в спальном мешке. Когда же наконец он двинулся с места и побрел вверх по берегу реки, то походка его оказалась тяжелой. Он остановился и уставился на то место, где было кострище, где он оставил свой спальный мешок и рюкзак. Снова двинулся было, снова остановился и все смотрел туда, на знак. Наконец медленно повернулся к ней спиной и направился к проходу между лавровым кустом и сосной. Айрин, торжествуя победу, стиснула руки. Он снова остановился. Повернулся и пошел назад, вниз,

прямо к воде, тяжело и неуверенно ступая, с шумом перебрался на другой берег, вытащил из земли столб со знаком, отодрал доску, разломал ее о колено, швырнул на песок обломки и огляделся.

— Сволочи! — сказал он густым басом. — Сволочи вонючие!

— Сам такой! — вырвалось у Айрин, и ноги под ней почему-то сами собой распрямились, и она встала во весь рост.

Он тут же повернулся и двинулся к ней. Она стояла на месте, потому что теперь ее ноги отказывались идти.

— Уходи! — сказала она. — Убирайся! Это частная собственность!

Теперь он смотрел на нее не мигая. Стоял — массивный, с белым, ничего не выражающим лицом — и глядел на нее. Его губы произносили какие-то слова, которых она не понимала.

Он снова двинулся к ней. Она услышала собственный голос, но понятия не имела, что именно кричит. В руке она все еще держала подобранный камень. Казалось, она убьет его, если только он ее тронет.

— Ну зачем же так? — сказал он сдавленным, хрипловатым, каким-то мальчишеским голосом. Остановился. Отвернулся. И пошел назад, неуклюже перебрался через речку, поднялся вверх по берегу к порогу.

Она стояла не двигаясь и наблюдала за ним.

Он миновал сосну и лавровый куст и пошел дальше. Странно: неужели она никогда не смотрела за порог с этой стороны? Тропа, которая вела отсюда наверх, к солнечному свету, обычно такая крутая и темная, с другого берега почему-то выглядела пологой и светлой и ничем не отличалась от других тропинок вечерней страны. Она хорошо видела, как тропа уходит вдаль, спускается вниз и по этой тропе в тени деревьев все дальше и дальше в лес уходит человек, окруженный неизменными серыми сумерками.

Он разломал доску, втоптал обломки в песок и стоял там в мокрой рубашке и джинсах — поскользнулся, переходя через ручей, — а в ботинках хлюпала вода.

— Сволочи, — сказал он, и это были первые слова, произнесенные им вслух в вечерней стране. — Сволочи вонючие!

Высокие кусты зашевелились и затрещали. Прятавшийся там вылез наружу и оказался темноволосым мальчишкой, который уставился на Хью.

— Уходи, — сказал мальчишка. — Убирайся! Это частная собственность.

— Хорошо. Где мои вещи? — Хью шагнул вперед. — Я за них недельную зарплату отдал. Куда ты их дел?

— Они там, наверху, в лесу. Не вздумай нести их обратно. И сам не вздумай возвращаться. Убирайся, и все!

Мальчишка сделал шаг вперед, самоуверенный, насмешливый, полный ненависти. Хью передернуло.

— Ладно, — сказал он, — только зачем же так?..

Впрочем, слова были бессмысленны, все бессмысленно. Он повернулся и побрел обратно на другой берег, оскальзываясь и с трудом удерживая равновесие на мокрых валунах. Он шел к проходу. Он вынужден отсюда уйти. Сейчас он переступит порог и уйдет навсегда, никогда сюда не вернется — теперь все испорчено. Его вещи где-то наверху, в лесу, он переступит порог, возьмет свои вещи и никогда не вернется назад.

Но ведь порог уже за спиной.

Оглянувшись, позади себя он увидел сумерки, услышал журчание воды, обтекающей валуны, а впереди — тоже сумерки и тропа, уходящая вдаль между деревьями.

Он заблудился, и теперь пути назад не было.

Хью сделал еще несколько шагов, потом остановился, постоял и вернулся назад к источнику, пройдя между вы-

соким кустом и сосной с красным стволом.

Тот незнакомец все еще стоял на противоположном берегу. Оказалось, что это женщина в джинсах и белой рубашке; под шапкой черных волос бледное лицо. Женщина не сводила с него глаз.

— Я не могу уйти,— сказал Хью.— Там нет прохода.

Между ними бежала вода, распевая громко и нежно.

Он был сильно напуган и сказал: — Если вы знаете эти места, если вы здешняя, то объясните, как мне уйти!

Женщина вдруг сдвинулась с места, перебралась через ручей, грациозно и легко перепрыгивая с камня на камень, остановилась у плоской скалы и показала на проход: — Там!

Он покачал головой.

— Проход там.

— Я знаю.

— Ну так идите!

— Там теперь все не так,— сказал он, повернулся, пересек поляну, прошел между кустом и сосной, но не исчез в темной тени, и тропа больше не вела круто вверх, и колючие ветки ежевики не мешали идти, и впереди не было солнца. Деревья, тесно обступившие тропу, в сумеречном свете почти сливались в сплошную стену, и ни ветерка, ни звука вокруг, только пение ручья у него за спиной. Наконец он обернулся, увидел у воды фигурку женщины, наблюдавшей за ним, и двинулся назад. Она сделала несколько шагов по траве ему навстречу.

— Тропа идет дальше,— сказала она шепотом.— Я такого никогда не видела. С этой стороны проход никогда не бывал закрыт. Пошли!

Быстрая, сердитая, она решительным шагом направилась мимо него к порогу. Он поспешил следом. Оцарапался о шершавый красноватый ствол сосны. На темной тропинке в волосы ему вцепилась ежевика. Он с трудом различал впереди женскую фигурку. Незнакомка упрямо карабкалась вверх. Над головой сухо защелкала птица. В воздухе пах-

нуло дымом, резиной, бензином, разогретыми сосновыми иглами. Тропа под ногами стала сухой.

— Вот ваши вещи,— сказала женщина. Его рюкзак и спальный мешок валялись на пыльной траве в зарослях ежевики.

Он смотрел на них, словно проверяя, все ли на месте. Назад взглянуть он не осмеливался: боялся, что если оглянется, то сумерки потянутся за ним следом. Женщина, вернее, девушка его лет стояла на тропе — черные волосы, черные глаза, бледное лицо.

— Что же это за место такое? — спросил он. — А?

Она ответила не сразу, и он решил, что она отвечать вообще не собирается. — Если бы ты был отсюда, то знал бы,— сказала она своим высоким резковатым голосом.

— Мне необходимо... — он не мог вытолкнуть слова наружу. Почему он вот так стоит здесь и позволяет ей себя оскорблять? Закаменевшее лицо горело — может, он плакал? Он потер подбородок, прикрывая рукой позорно дрожащие губы.

— Тут тебе не лагерь бойскаутов,— сказала она. — Нечего приносить сюда всякое барахло и устраивать здесь пикники и... и вообще, это тебе не какой-нибудь национальный парк. Ты ведь ничего об этом месте не знаешь. Не знаешь здешних правил. Не говоришь на здешнем языке, не знаешь их... Это не твое место — ты здесь чужой, а чужим здесь опасно.

Он не чувствовал спасительного гнева, способного избавить его от позора. Он вынужден был стоять вот так, и слушать все это, и повторять, повторять единственно важное для него, почти бормоча себе под нос: — Мне необходимо вернуться назад. Я больше не буду оставлять здесь свои вещи.

Расслышав его слова, она гневно встrepенулась, как газетный листок, сорванный со стенда порывом ветра, или лист бумаги, попавший в камин.

— Я предупреждаю тебя!

До него наконец начал доходить смысл слов, сказанных ею раньше.

— Так там... там есть... там живут люди?

После долгого молчания она ответила: — Да. Живут.

Глаза ее вспыхнули беспокойным огнем.

— Они ждут тебя,— сказала она своим нервным, пронзительным голосом, а потом вдруг быстро прошла мимо него, но не вниз по тропе, к вечерней стране, как он ожидал, а вверх — стремительная, порывистая, крепкая,— туда, к утреннему свету. Через мгновение она скрылась в зарослях, а еще через мгновение стих и звук ее легких шагов.

Хью растерянно стоял, вдыхая теплый и пыльный лесной воздух, слегка подрагивающий от постоянного рева транспорта, доносившегося с шоссе и из поднебесья. Солнечный зайчик, пробравшись сквозь листву, плясал не уставая на чехле его спального мешка.

Куда мне теперь идти? Некуда.

Он устал, гнев, страх, тоска истерзали его. Он уселся прямо рядом с тропой, положив руку на рюкзак, словно защищая его или успокаивая. Жгучая боль утраты не проходила и не становилась слабее.

Может, и она чувствует нечто подобное, подумал он. Как если бы я отнял у нее право на это место.

Но я ничего не могу с этим поделать. Я должен туда вернуться. У меня ничего другого нет. Она не имеет права... Нет, не то чтобы не имеет права... нет, он не знал, как это можно выразить иначе.

Я вернусь обратно и больше не буду оставлять там свои вещи. Во всяком случае — на поляне у самого входа. Можно, например, подняться выше по течению ручья. Не может же она ходить повсюду. И вообще, с какой стати нам с ней снова встречаться здесь?

Разве что я опять не смогу выйти.

Эта мысль только мелькнула в его мозгу. Панический ужас, который он испытал, увидев, что проход ведет дальше

в сумеречную страну, уже успел погрузиться на самое дно его души, слишком глубоко, чтобы легко пробудиться вновь. Если такое случится еще раз, я могу подождать, сказал он себе, и выйду оттуда, когда она придет, вместе с ней.

Она такая же, как и я, она приходит отсюда. Но есть люди, которые там живут. Так сказала она.

Однако и эта мысль ненадолго задержалась в его мозгу. Мне необязательно с ними встречаться. У источника никогда никого не было. А она теперь ушла. Я возвращаюсь...

Он сунул свои пожитки под пыльные колючие ветки ежевики, встал и пошел назад по тропе к порогу, к чистой воде родника и прильнул к ней, преклонив колени. Вода омыла его лицо и руки, смыла позор и страх с его души.

— Это мой дом,— сказал он земле, скалам и деревьям и, почти прижав губы к воде, прошептал: — Я — это вы. Я — это вы.

В торговый центр он пришел к десяти и в пять минут одиннадцатого уже открывал кассу № 7. Донна глянула на него поверх своего аппарата: — У тебя все в порядке, Бак?

Для Хью с тех пор, как он вчера ушел с работы на час раньше, уже успели пройти два дня и три ночи, и он никак не мог припомнить, почему Донне кажется, что у него что-то не в порядке.

— Конечно! — сказал он.

Она снизу доверху осмотрела Хью странным взглядом — одновременно циничным и любящим.

— И вовсе ты не болел,— сказала она.— У тебя были дела поинтереснее.

Звякнул ее кассовый аппарат — она получила деньги за упаковку кока-колы и пачку печенья с сыром от трясущегося, небритого старика. При этом Донна сказала, обращаясь одновременно к покупателю и Хью: — Разве не прекрасно — быть молодым? Но я бы, например, ни за что не согласилась на это снова, хоть озолотите.

Особенно далеко вниз по течению он не заходил. Здесь ручей становился более узким и глубоким, и вода всегда казалась темнее. Если же от поляны у порога идти вверх по течению, то берега постепенно становились более открытыми, во многих местах виднелись светлые широкие полосы песчаных пляжей. Он дошел до того места, где ручей под сенью огромных ив резко сужался из-за выступающей красной скалы, которая изломанными ступенями поднималась над речным ложем. Здесь, возле крутого скалистого берега, вода пенилась и кипела, зато чуть ниже по течению образовалась широкая заводь, и притом довольно глубокая. Заводь со всех сторон обступили деревья, но сама водная гладь была чистой, как зеркало, и в ней отражались небеса. Здесь, среди девственной природы, царил дух отрешенности ото всего на свете и некоей самодостаточности. Казалось, что никто другой сюда никогда не придет.

Он устроил подходящий тайник для своих пожитков в развилке низенького деревца, до такой степени заросшего диким виноградом с мелкими листьями, что и сам заметил развилку, только когда нащупал ее руками. Хью собрал немного хворосту — в основном ветки от ближайшего сухого дерева, — выложил на песке очаг в укромном месте, чуть повыше выступающей из берега красной скалы, и все приготовил для костра. Потом снял рубашку и джинсы и в полном молчании, держась ровно, вошел в спокойную воду. Прямо под красным скалистым берегом ему было с головой. Там он плавал, испытывая огромное тихое счастье, до тех пор, пока не стало больше сил терпеть ледяную воду, и только тогда, совершенно окоченев и дрожа всем телом, вылез на берег и разжег свой костер.

Пламя костра в ясных вечерних сумерках было прекрасно. Он присел возле костра на корточки, не одеваясь, стараясь кожей, костями впитать его жар. Потом наконец оделся, приготовил себе чашку крепкого сладкого шокола-

да, купленного на распродаже, и сидел, с наслаждением прихлебывая, отдыхая душой. Когда костер догорел, он присыпал пепелище песком, обулся и направился вверх по течению — исследовать берега.

Теперь он бывал здесь каждый день. Половина его жизни проходила в вечерней стране. Здесь изменялся, становился спокойнее даже ритм его дыхания. Просыпаясь — а сон здесь был глубокий, темный, неодолимый, словно река, — он сначала некоторое время лежал, лениво слушая, как бежит вода и трепещут листья, и мечтал: я останусь здесь... я еще немного здесь побуду... Но так и не оставался. На работе в супермаркете или дома он не очень много думал о вечерней стране. Она существовала, и это все, что ему необходимо было знать, когда он проверял покупки на сумму в шестьдесят долларов или успокаивал мать после очередного тяжелого дня в конторе компании по займам, где она работала. Это место существовало, и он мог сюда вернуться — в эту тишину, туда, где жизнь обретала смысл, к ее истоку.

Проход больше ни разу не оказывался закрытым для него, и он почти забыл, что такое возможно. Видно, все тогда случилось из-за того, что она пришла *оттуда*, и именно поэтому смогла вывести его обратно, когда проход оказался закрыт. Иногда он думал о ней — осуждая и одновременно жалея. Если бы она не источала столько ненависти и яда, они, наверно, смогли бы поговорить. Он сам позволил выдворить себя, значит, сам и виноват. Она могла бы рассказать ему об этой стране. Она явно знала ее куда лучше, чем он, и гораздо дольше. Хоть сама и была не здешней, но знала здешних людей.

Если только здесь вообще есть какие-то люди. Об этом он очень часто размышлял во время своих молчаливых купаний в заводи под ивами. Она тогда всего-то и сказала: «Ты не знаешь их языка», а потом, когда он спросил, живут ли здесь люди, ответила «да», но не сразу и так, будто кто-то или что-то заставило ее. Она пыталась запугать его.

И мысль о каких-то еще людях действительно пугала. Главная радость здесь — полное одиночество. Возможность побыть одному. Не иметь дела с другими людьми, с их нуждами, потребностями, приказами.

Но какие они, здешние жители? Какой у них язык? Здесь все погружено в безмолвие. Даже птицы никогда не поют. В лесу должны быть звери, но и они невидимы, беззвучны. Здесь каждый живет, стараясь не тревожить другого.

Он думал обо всем этом, сидя под ивами на берегу ручья, в тишине, возле яркого маленького костерка. Здесь можно было долго-долго думать над одной-единственной мыслью, всячески ее развивая. Он и раньше никогда не считал себя дураком и довольно хорошо учился в школе — по тем предметам, которые ему нравились, — но знал, что люди считают его глуповатым, потому что он тугодум. Мозг его отказывался работать в спешке, судорожно принимать решения. А здесь можно было спокойно обдумать любую идею, и это составляло существенную часть той внутренней свободы, которую он вкушал в вечерней стране. Одновременное существование в двух совершенно различных жизнях, по разные стороны порога, отделяющего Кенсингтонские Высоты от вечерней страны, должно было, казалось бы, сбить его с толку, лишить душевных сил, но именно силы-то он и черпал здесь, у родника. Здесь он был спокоен, плавал, спал, мечтал о путешествии автостопом, чувствовал, что по-настоящему живет. И это полное спокойствие вытесняло ощущение постоянного стресса, той чудовищной спешки, когда нет времени даже спросить себя: что ты делаешь? куда идешь? какой путь выбрать и куда приведет этот путь? Но теперь даже по ту сторону порога, если удерживать в душе ощущение лесного покоя, ему удавалось немножко подумать.

С тех пор как тогда он сказал, что его мать больна, услышал свой собственный голос, выговаривающий эти слова, он просто заставил себя обратить на ее болезнь самое серь-

езное внимание, а не прятать голову под крыло; заставил себя спокойно подумать, чем и насколько серьезно она больна.

Это оказалось нелегко. Это означало, что он должен воспринимать ее не как мать, а как совсем чужую женщину, любую. Просто как больного человека.

В старших классах у него было много знакомых ребят, которые постоянно пользовались наркотиками. А в десятом классе, и об этом ему вообще-то не очень приятно было вспоминать, девочка, которая обычно списывала у него упражнения по английскому и которую звали Черил,— он слышать спокойно не мог ее имени, потому что ее невероятная покорность постоянно заставляла его чувствовать себя виноватым,— однажды, примерно за неделю до конца школьных занятий, заперлась в кабинке туалета и попыталась утопиться в унитазе. Он услышал крики и увидел девчонку в холле, которая дико, истерически хохотала, а потом пронесли согнутую пополам Черил, с волос ее капала розоватая вода, и она кричала пронзительным тонким голосом, а он и другие ребята стояли вокруг, в холле и на лестнице, и смотрели. Никто потом не знал, как говорить об этом, никто из тех, кто слышал, *как* она кричала. Это был самый страшный случай в его жизни. С другой стороны, работая в бакалее, он видел множество странных людей, ругательски ругающих ни в чем не повинные грибы, или психов, вроде магазинного воришки, пытавшегося откупиться, или того парня, который замахнулся на Донну ножом, когда та отказалась принять от него в уплату чек без удостоверения личности; и вообще, бывает много людей, которые, наверно, преследуют какие-то свои, вполне конкретные цели, а другим кажется, что они занимаются полной чушью — например, покупают четыре дюжины аэрозоля от гусениц и огромную банку водяных каштанов в придачу. Объединяло людей, совершающих странные поступки, по его мнению, следующее: все они так или иначе выбились из колеи и буксуют на месте. Мотор все еще

работает, колеса крутятся, но уже никуда не привезут. За последние семь лет его мать тринадцать раз меняла квартиру, они жили в пяти различных штатах; и чем чаще она переезжала, думал Хью, тем хуже приживалась на новом месте.

Но даже если у нее и было что-то общее с «грибоненавистниками» или с любителями инсектицидов, она все равно не шла ни в какое сравнение с теми наркоманами или Черил! Она просто забуксовала, но еще на плаву. Компания по займам — огромное предприятие с конторами по всей стране — позволяла ей в два раза чаще менять место жительства да еще при этом получать подъемные. Она постоянно жаловалась на свою работу, но ни разу не пропустила ни дня. А в этом городе она даже нашла себе, наконец, подругу, Дурбину, и совершенно новое увлечение, оккультизм, которому отдавала теперь очень много времени. Разве можно назвать это сумасшествием? Хью вовсе не хотел осуждать мать, но то, что она ему рассказывала, звучало весьма глупо. Они с Дурбиной вроде бы как вспоминали свои прежние жизни, в которых вечно оказывались то принцессами, то настоятельницами монастырей; интересно знать, кто же тогда работал в компаниях по займам или супермаркетах Древнего Египта? С другой стороны, ничего удивительного — всегда ведь вспоминается самое главное. Вообще-то жуткая бредятина, но не страшнее, чем увлечения других людей, которые, например, с ума сходят по бейсболу, покупают кучу алюминиевых кастрюль, собирают старинные медицинские пузырьки, интересуются развитием ядерной техники, поклоняются Иисусу Христу, увлекаются политикой, диетами или игрой на скрипке. Люди всегда делали странные вещи. Люди вообще поразительно странные. Все. Так что трудно определить по поведению, болен человек или нет, а то в больницы попадут все. Ты явно не в себе, если пытаешься ехать на машине с выключенным двигателем. Ей никуда было деться от дома, и чем чаще она из него уходила, тем сильнее от него зависела;

совершенно не могла находиться в доме одна, не могла возвращаться вечером в пустой дом, приходила в ужас от одной мысли, что может проснуться ночью и никого больше в доме не окажется. И это у нее прогрессировало, сейчас стало куда хуже, чем прежде. Это-то я знаю, думал он. А что толку, что знаю? Я же ничего не могу с этим поделать. Кроме меня, у нее никого нет. Нужно, чтобы у человека кто-то был. Даже если вы друг другу помочь не можете. А у нее никого больше нет. Он...

... ждал тогда Хью на противоположной от школы стороне улицы. «Поедем-ка на стадион и глянем, как там обстоят дела с легкой атлетикой!» — сказал он, и тринадцатилетний Хью, одетый в зеленую рубашку, полученную вчера на день рождения, заметил, как глядят на его отца ребята; отец был крупный, светловолосый, высокого роста и с широкой грудью, ему здорово шла джинсовая куртка, ставшая на сгибах почти белой. У отца был фордовский грузовик, и они поехали на институтский стадион и смотрели, как спортсмены бегали, прыгали в длину, взлетали с шестом ввысь, прямо в золотую дымку апрельского неба. Они поговорили о последних Олимпийских играх, о технике прыжков с шестом. Отец легонько потрепал его по плечу и сказал: «Знаешь, Хью, я тебе очень доверяю. Ты понимаешь, что это такое? То, что я могу на тебя рассчитывать. Ты надежнее многих известных мне взрослых мужчин. Таким и оставайся. Твоей матери необходим человек, на которого можно положиться. А на тебя она положиться может. Мне очень важно это знать».

Хью не мог поцеловать его огромную покрытую золотистыми волосками руку; мужчинам это не полагалось, можно было разве что шутливо подтолкнуть друг друга или хлопнуть по плечу. Он не мог даже погладить обтрепанную манжету джинсовой куртки отца. Сидел и молчал, потрясенный этой похвалой, словно солнечным светом озарившей его душу. На следующий день, вернувшись из школы

домой, он увидел на кухне их соседку Джоанну, которая всем своим видом выражала неодобрение; мать после инъекции транквилизаторов лежала в постели; отец навсегда уехал от них на своем грузовике, оставив записку, в которой говорилось, что он подыскал работу в Канаде и считает, что сейчас самое время расстаться.

Записки этой Хью так и не показали, хотя Джоанна повторила ему несколько фраз из нее, например, о том, что «сейчас самое время расстаться», но знал, что мать хранит ее в своей шкатулке среди прочих бумаг и фотографий.

Отметки у Хью в конце той четверти были неважные, потому что мать старалась под любым предлогом не пустить его в школу, чаще всего устраивала истерику за завтраком. «Я же вернусь. Я только схожу в школу и в половине четвертого уже буду дома», — обещал он. А она плакала и умоляла его не оставлять ее одну. Когда же он оставался, то просто не знал, куда себя деть, и читал старые комиксы; на улицу выходить он боялся и отвечать на телефонные звонки — тоже, потому что могли позвонить из школы; мать же никогда не проявляла особой радости по поводу того, что он остался. В то лето они впервые переехали и она устроилась на работу. Сначала, как и всегда у нее на новом месте, дела вроде бы пошли получше.

Стоило матери начать работать, вопрос о том, как ей провести день, отпал, и Хью спокойно закончил школу. Но ночь, темнота — вот чего она по-прежнему не выносила, совершенно не могла оставаться одна в темном доме. Зная, что он рядом, она вела себя вполне хорошо. Ну а на кого же еще ей было положиться?

А что осталось у него, кроме того, что на него можно положиться? Хью считал, что все его прочие качества, которые заслуживали или могли заслуживать какого-то внимания, здорово обесценил своим отъездом отец. Люди не бросают нужных или ценных вещей. И хотя теперь он и понимал достаточно хорошо тогдашние чувства этой Черил — каково это, чувствовать себя последней дрянью, от

которой непременно нужно избавиться,— все равно не собирался следовать ее примеру, потому что по крайней мере в одном был безусловно ценен, полезен и необходим: он мог быть дома, под рукой, когда матери это требовалось. Он мог занять место отца. Хотя бы отчасти.

Когда в десятом классе весной занятия физкультурой у них были на стадионе, он первым делом сломал себе лодыжку, прыгая с шестом. Особенно спортивным он никогда не был. Он вырос крупным и высоким, но тяжеловатым, с вялыми мышцами и нежной кожей.

— Послушай, я, пожалуй, тоже заведу себе симпатичный красненький костюмчик и начну бегать взад-вперед по улице,— сказала Донна.— Здорово ты свой жирок растряс, Бак!

Он внимательно посмотрел на собственный живот и увидел, что тот и впрямь здорово подтянулся. Ничего удивительного, ведь каждое утро он отмеривал шагами путь туда и обратно, да еще плавал там, в общем, двигался часов по десять—двенадцать, а ел при этом совсем мало. Носить с собой в вечернюю страну много еды было трудновато, и он разрешил эту проблему просто: старался там ничего не есть.

Впервые отправившись на прогулку вверх по ручью, он был осторожен и ушел недалеко. Боялся заблудиться. Купил компас, но обнаружил, что не умеет с ним обращаться. Стрелка дрожала и крутилась при каждом движении, и хотя по большей части, как ему казалось, она все же указывала, что север находится за ручьем (если голубой конец стрелки показывал действительно на север), то ему все равно этого было явно недостаточно, чтобы суметь вернуться на поляну у порога, если уйти далеко от берега в холмы. Здесь не было ни звезд, ни солнца, чтобы по ним сориентироваться. Да и какое значение вообще могли здесь иметь стороны света? Деревья росли достаточно густо, и долго по прямой не пройдешь, а открытого места, от-

куда можно было бы осмотреться, он так и не нашел, как не нашел и способа определить местонахождение этой страны. Вот и оставалось исследовать тропинки и заросли кустарника, поляны, низинки, боковые тропы, горные ручейки и извилистую линию лесной опушки по обеим сторонам ручья вверх от заветного местечка под ивами. Он досконально изучил этот кусочек нецивилизованного мира. Узнать нужно было многое, а он ничего не знал об этой стране, не различал породы деревьев и трав. Деревья с шишками оказались соснами. Деревья с ниспадающими гибкими ветвями — ивами. Дубы он знал. Во дворе одной из последних школ, посреди площадки для игр рос огромный дуб, но в этом лесу ни одно дерево не было на него похоже. Он достал книгу о дикорастущих деревьях, и ему удалось кое-что определить: ясень, клен, дикий виноград, ольху, ель. Все увиденное и найденное здесь его занимало и интересовало. Он также размышлял о том, чего пока не знал и не видел. Как далеко простирается этот дикий край, эти леса? Существует ли у леса конец? Теперь он уже поднялся по течению ручья на несколько миль, но никаких следов или признаков человека так и не заметил. Даже птицы и звери были невидимы; он бродил по едва различимым тропинкам, протоптанным оленями, но ни одного ни разу не видел, иногда находил старое упавшее птичье гнездо, но ни разу за все это время не слышал ни пения птицы, ни крика зверя. Здесь всегда было одинаково тепло, одно и то же время года.

Ну а ручей, его друг и провожатый, — что можно сказать о нем? Ручей — там, ниже по течению — должен впадать в реку или становиться рекой, большой или маленькой, и впадать в море.

У него перехватило дыхание. Он туло уставился в огонь, полностью поглощенный внезапной мыслью о море, окруженном сумеречными берегами, о тьме, в которую бежит эта живая вода. Белые барашки волн в густеющих сумерках, а под ними — черные глубины и вокруг ночь.

Ночь, и на небе все звезды.

И таким необъятным и мрачным было это видение, столь ужасной показалась мысль о звездах, что когда она прошла и он снова взглянул на знакомые скалы, пляж, деревья, ветки, на узорную тень листьев на песке, где лагерь, то все показалось ему маленьким, хрупким, будто игрушечным, а плоское ясное небо — очень странным.

Про себя он часто называл эту страну вечерней из-за непреходящих сумерек, но теперь решил, что такое название не соответствует истине, ведь вечер — это время перемены, преддверие ночи.

Легкий ветерок подул вдоль ручья и сморщил воду в заводи. Снова пришла на ум картина: огромная горная страна, погруженная в сумерки, порог тьмы и серебряный ручей, стремящийся по склону горы вниз, к темноте, невесть с каких высот, с востока, оттуда, где занимается невообразимый день.

Он сидел в смятении, окруженный сумерками, чувствуя, что на мгновение ему приоткрылось нечто, делавшее для него эту воду священной.

— Мне надо пойти дальше,— прошептал он чуть слышно. Как и всегда, он говорил сам с собой вполголоса и за все это время вряд ли произнес больше одного слова или предложения зараз.

Когда возникли мысли о море, он брился, и теперь возобновил это занятие. То, что здесь казалось сутками, в мире дневного света составляло чуть меньше часа, но борода у него росла не по здешнему, а по тамошнему, дневному времени. Если отпустить бороду, это здорово упростило бы жизнь,— а ведь в восемнадцать лет он бесполокоился, вырастет ли у него борода, зато теперь густая, медного оттенка щетина отрастала так быстро, что мать вечно твердила ему, что пора побриться,— но служащим супермаркета носить бороду не разрешалось. Он уже имел достаточно неприятностей из-за прически и отстоял свое право носить волосы почти до плеч.

Последней частью обязательного ритуала, который он совершал, прежде чем покинуть свое излюбленное местечко под ивами, сложить и спрятать пожитки, было бритье. Иногда он подогревал воду, но если костер уже потух, обходился холодной и, стиснув зубы, скоблил неподатливую щетину; и даже тогда прикосновение родниковой воды воспринималось как ласка.

Вечером в субботу он сказал матери, что отправляется на все воскресенье «за город», путешествовать автостопом. Она в очередной раз сделала ему замечание, что он слишком шумит, вставая в такую рань, но никакого любопытства не проявила. Хью ушел из дому в пять, держа под мышкой пакет с дорогими сушеными и сублимированными продуктами и намереваясь пополнить свои запасы. Хотелось немного пожить в сумеречной стране, продвинуться чуть дальше в своих знаниях о ней.

Оказалось, что от порога в направлении, противоположном тому, откуда он приходил, ведет только одна тропа или дорога. Прыгая с камня на камень, он перебрался через ручей, миновал темно-зеленые заросли, из которых вышла тогда девушка — теперь уже прошло много времени, несколько недель, с того дня, — и начал подниматься по тропе, уводившей его от родника, вверх. Тропа чуть петляла, но неизменно придерживалась оси, перпендикулярной роднику, и он надеялся, что сможет удержать в памяти хотя бы это направление. Он обнаружил, что даже если на мгновение потеряет всякую ориентацию в лесу, достаточно остановиться и прислушаться и сразу же обретаешь ощущение того, где находится проход — слева, позади, за этим холмом или за тем, — и ощущение этого направления до сих пор ни разу ему не изменило. Ему не приходило в голову ничего более разумного, чем постоянно идти спиной к порогу, идти, пока хватит сил.

На вершине холма воздух, казалось, стал светлее. На дальнем склоне деревья были высокими и стояли редко на почти открытом пространстве без подлеска. Чуть замет-

ная, но все же различимая, если вглядываться, тропа вела прямо вниз. Спускаясь по ней, он впервые перестал слышать голос родника, который так часто пел ему колыбельные.

Он шел довольно долго размеренным и быстрым шагом, радостно и гордо ощущая, как послушно и выносливо его тело. Тропа не стала ни светлее, ни темнее. От нее ответвлялись другие тропы, чаще всего протоптанные оленями, но ни разу не возникло сомнения в том, что именно эта и есть главная. Он знал, что если повернет назад, то тропа обязательно приведет его к роднику, к исходной точке путешествия. Ощущение того, где находится порог, похоже, еще больше обострилось по мере того, как он уходил от него все дальше, словно здесь закон притяжения работал по принципу, обратному земному.

Перейдя через ручеек, поменьше, чем тот, знакомый, он устроился у звонко поющей воды, решив немного подкрепиться; когда же снова тронулся в путь, то почувствовал прилив сил и желание верить в удачу.

Его путь пересекал горные складки как бы по перпендикуляру. Из долин, скрытых в туманной дымке, постоянно доносилось журчание ручейка или речки. Подниматься было нетрудно, но чем дальше, тем круче становились склоны, причем подъемы всегда были более пологими, чем спуски,— он каждый раз будто поднимался на круто обрывающийся гребень волны. Когда он пересек третий большой ручей, то как следует передохнул и искупался, а потом решил обозначить время, потраченное на дорогу, одним днем пути. Ему нравилось это выражение. Как-то очень понятно звучало. Вообще-то он мог выбрать любой отрезок времени, какой понравится, и назвать его днем, а следующий — ночью и весь его проспать. Раньше ему никогда не приходилось вот так экспериментировать со временем, думал он, сидя на берегу ручья у костерка из валежника. Раньше за него это делали часы. Часы по ту сторону порога следили за всем: определяли рабочий день и необходимость включать фары, расписание самолетов и деловые свидания,

по часам встречались влюбленные и начинались мировые войны, ничто не обходилось без часов, и все равно то, что показывали часы, имело самое незначительное отношение ко времени вообще. Примерно как коробок спичек к настоящей ели. А здесь не имело смысла спрашивать «который час?», потому что нечего было ответить на этот вопрос, и не было солнца в небе, которое могло бы сказать «полдень», и не было часов, провозглашающих «семь часов тридцать восемь минут сорок две секунды». Приходилось самому определять себя во времени, и единственный ответ был «сейчас».

Он поспал, крепко, без сновидений, и просыпался медленно, чувствуя себя настолько расслабленным, что сначала едва мог поднять собственную руку.

После третьего ручья местность вокруг стала более суровой. Идти приходилось почти все время вверх, и маленькие ручейки бежали теперь сверху вниз ему навстречу рядом с тропой или пересекая ее. Путь был ясно виден. Кто проложил его? когда? — ни малейшего указания на это, ни малейшего признака, что кто-либо недавно проходил здесь. Но дорога безусловно существовала и вела к какой-то вполне конкретной цели, все выше и выше, лентой извиваясь по склону горы, но всегда повинуюсь основному направлению. Дорога была для чего-то проложена — это единственное, что он понял, и позволил ей вести себя. Вокруг стеной стоял лес, под гигантскими елями тяжело лежали густые сумерки. Вокруг не было ни звука, лишь в вершинах елей величаво и негромко вздыхал ветер. Хью попадались следы кроликов, мышей и еще каких-то застенчивых лесных зверюшек, однажды рядом с тропой он заметил маленький череп, но ни одного живого зверька так и не видел. Казалось, здесь каждое существо старается держаться в одиночестве. И он тоже ощутил себя совершенно одиноким, карабкаясь вверх по затянутым туманом склонам в неизменной тишине леса. Он словно вдруг увидел себя со стороны — очень маленького, бре-

90

душего через этот дикий край из ниоткуда в никуда. Так он мог бы идти до бесконечности. Потому что здесь, где нет показывающих время часов, существовало лишь понятие «сейчас» и путь в бесконечность лежал в настоящем времени.

Голод помешал его размеренному движению вперед. Он остановился и поел, а когда снова тронулся в путь, почувствовал себя гораздо более собранным и бодрым. Теперь местами дорога поднималась настолько круто, что ему, чтобы передохнуть, приходилось вставать на четвереньки, и тогда он чувствовал руками мощные складки горы, необычайную глубинную силу земли, рвущуюся наружу из-под ее грубой шкуры, заросшей скалами и корнями деревьев. Уже довольно давно тропа ушла влево от той оси, на которой лежал родник у порога, а теперь постепенно возвращалась к прежнему направлению и в конце концов выровнялась точно по оси. Теперь он мог идти выпрямившись, шагал свободно, и это принесло облегчение. Ели толпились вокруг густые, высокие, темные, под ними лежала плотная тень, но впереди он видел светлую ленту широкой тропы, здесь превратившейся в почти настоящую дорогу. И в легком горном воздухе он почувствовал, потом еще и еще раз долетевший до него слабый запах дыма.

Он шел теперь размашистым, бодрым, уверенным шагом.

Дорога поднималась вверх плавной волной. Справа склон из пологого постепенно стал более отвесным и потом вдруг оборвался вниз столь круто, что растущие на нем деревья перестали закрывать горизонт, и впервые в этой стране он смог увидеть далеко вокруг. Он находился на склоне горы. Справа, впереди, над уходящими вниз по склону верхушками деревьев виднелись отроги другой горы, мрачно возвышающейся на фоне ясного неба. Он чуть сбавил темп — голова слегка кружилась, он будто плыл меж бескрайних долин по безбрежной небесной реке. Когда дорога снова повернула, он глянул вперед и увидел, что на склоне горы гнездятся дома с высокими крышами и каминными трубами,

это был город, светилось в холодных сумерках чье-то окно. Там был его дом, и он пошел к нему, спустился вниз по улице мимо освещенных окон, услышал голос ребенка, проносящийся какие-то слова на непонятном языке.

4

При дневном свете он казался не таким огромным и значительно моложе — примерно ее возраста, неуклюжий, широкоплечий белолицый парень. Он был глуп — ничего из ее тогдашних слов так и не понял. «Мне нужно вернуться», — сказал он, будто прося у нее разрешения, будто она могла ему это позволить или не позволить. «Я тебя предупреждаю!» — сказала она, но он так и не понял, и ее терпение лопнуло. Она проделала долгий путь из Города На Горе до порога, устала, а стычка с ним, вызвавшая у нее гнев и ужас, отняла последние силы, а ей еще надо было добраться домой, помыться, поесть, вовремя попасть на работу. Патси наверняка спросит, где это она ночевала, — ведь уже давно наступило утро. В прошлую среду она пообещала отнести материны вещи в химчистку. А этот тип все продолжал стоять перед ней, лицо перепачкано углем с ее дощечки, презренный враг, и она вынуждена была оставить его там и уйти, так и не зная, будет ли проход открыт, когда она вернется.

Оказалось, что еще совсем рано. Она вернулась домой в начале седьмого. Рик и Патси уже дня два друг с другом не разговаривали, их молчаливая вражда коснулась и ее, поэтому ни одного вопроса о том, где она провела ночь, не последовало. Вечером после работы она обнаружила, что Патси почему-то рассматривает ее ночное отсутствие как предательство и надменно молчит. А Рик заговорил об этом лишь потому, что хотел выразить собственные мысли: «В самом деле, какого черта! Ради чего, спрашивается, спать именно в этой квартире?»

Прошлой осенью она была рада поселиться здесь вместе с Риком и Патси. Они были в меру щедры и содержали квартиру в относительной чистоте, жить вполне можно, впрочем, к стенам было все же лучше не прислоняться. Они ценили то, что Айрин вносила треть квартплаты, потому что Рик не работал. Между ними существовала довольно прочная договоренность, которая такой и оставалась бы, если бы Рик и Патси не ссорились, потому что вздумай они расстаться, никакая договоренность, даже самая лучшая, уже не помогла бы. Гнуснее всего сейчас оказалось то, что Рик пытался использовать ее в своей борьбе против Патси, и ночь, проведенная Айрин неизвестно где да еще без каких бы то ни было объяснений на сей счет, давала ему повод думать, что с ней можно позволить себе больше чем просто легкое заигрывание. Ей всего-то и требовалось в этой ситуации — соврать, что ночевала у матери, но она не хотела опускаться до вранья, такой чести Рик больше не заслуживал. Он по-прежнему являлся к ней в комнату и говорил, говорил... Вечером во вторник явился снова и сказал, что дело это серьезное, что необходимо им обсудить будущее, что Патси говорить серьезно не хочет, а ведь с кем-то надо поговорить, и серьезно. Ну, только не со мной, подумала Айрин. Рик, худой парень лет двадцати пяти, весь покрытый рыжеватыми курчавыми волосами и очень похожий на потрепанного игрушечного мишку, стоял с каким-то ленивым упорством между ней и дверью в ее комнату. На нем были только джинсы, на коленках проношенные до дыр. Пальцы на босых ногах очень тонкие и длинные. «Я как-то не особенно расположена к разговорам», — сказала Айрин, но он все продолжал гнусавым голосом вещать о том, как кое-кому необходимо порой поговорить серьезно, как ему хочется объяснить Айрин, почему у них с Патси такие отношения, и как ей, Айрин, важно знать, почему эти отношения именно такие. «Только не сегодня, ладно?» — сказала Айрин, хлопнув дверцей кухонного буфета, ринулась мимо него к себе и за-

перлась на ключ. Он еще послонялся по кухне, бормоча и ругаясь, потом, хлопнув дверью, убрался из дому. Патси в своей комнате так ничем и не хлопнула, не стукнула — хранила ритуальное молчание.

Айрин присела на краешек кровати, сгорбилась, сунула руки между коленями и стала думать. Так долго продолжаться не может. Ну до конца месяца в крайнем случае она потерпит. А что дальше?

Ей повезло: здесь она жила неподалеку от матери и платила за квартиру всего одну треть, поэтому хватало денег на взносы за купленную в рассрочку машину, от которой зависела ее работа у Мотта и Зерминга, на ремонт машины и даже на покупку резины для двух колес. Она могла бы позволить себе платить за жилье чуть больше, но все же снять отдельную квартиру ей было не по карману. Оставалось одно — переехать в центр, где квартиры в два раза дешевле, но тогда мать будет постоянно беспокоиться, как бы ее доченьку кто-нибудь не обидел или не изнасиловал по дороге к ней. Кроме того, чтобы добраться сюда, ей понадобится по крайней мере полчаса, а то и минут сорок, да и сама она будет беспокоиться о матери. Если бы мать звонила ей, когда Виктор напивается. Но она не звонит.

Айрин встала, вышла на улицу, несильно прихлопнув за собой дверь, и пешком отправилась к матери.

Вечер был жаркий и безветренный. На улице полно народу. Челси-Гарденз авеню забита ревущими машинами — люди куда-то спешили, просто катались, делали покупки, объезжая магазин за магазином, захмелев от вина или наркотиков, устраивали гонки. Двор фермы по вечерам Виктор освещал прожектором, чтобы иметь возможность возиться с очередной машиной. Непонятно, зачем возиться по вечерам, если у тебя в распоряжении целый день? Да и вообще Виктор как-то не особенно соображал по автомобильной части; Айрин, которой приходилось бывать в автомастерской, знала, например, о двигателях в два раза больше его. Просто ему нравилось быть в центре внимания.

Держа в одной руке гаечный ключ, а в другой жестянку с пивом, он что было силы орал на мальчишек: «А ну положи на место! Убирайтесь от запчастей к чертовой матери, ублюдки проклятые!» Вот и сейчас двое или трое его сыновей, сводные братья Айрин, шмыгнули мимо нее в темноту двора. Мальчишки на ее приход не обратили ни малейшего внимания, а вот собаки обрадовались — три маленькие истерично лаяли и путались в ногах, а доберман, которого Виктор держал на цепи, совсем ошалел и чуть не задохнулся.

Айрин нашла мать в обшарпанной кухне вместе с четырехлетней малышкой Триз. Триз сидела за столом и ела овсяные хлопья с шоколадной добавкой прямо из пакета, а мать прибирала оставшуюся после обеда грязную посуду, медленно двигаясь по кухне. Было девять часов вечера. «Здравствуй, Айрин, дорогая моя», — сказала миссис Хансон, улыбнулась робкой счастливой улыбкой, и они легонько прижались друг к другу.

У Мэри Хансон в тридцать девять лет было три выкидыша и шестеро детей. Старшие — Майкл и Айрин — от первого мужа, Ника Пannisа, которого сгубила лейкемия через три месяца после рождения Майкла. Тетка покойного Ника приютила молодую вдову с малышами. Тетке принадлежала эта ферма, а еще она имела свою долю в лесопитомнике напротив, где и работала. Выйдя на пенсию, она на свои сбережения купила домик во Флориде и переехала туда, оставив ферму и пол-акра земли Мэри. Вскоре после этого в доме появился Виктор Хансон, который женился на Мэри и стал автором Вейна, потом Далтона, потом Дэвида, потом Триз и всех последовавших за этим выкидышей. У Виктора по многим вопросам имелись собственные теории, которые он очень любил излагать прилюдно, в том числе и по вопросам пола: «Понимаете, если мужику вовремя не избавиться от своего семени, то, вы же понимаете, оплодотворяющие клетки идут назад и напрочь забивают проход — пожалуйста, воспаление пред-

стательной железы. От семени надо регулярно избавляться, чтобы оно не превращалось в яд, как и все прочее, что вовремя из организма не изгоняется. Это вроде как кишечник опорожнять или сморкаться — ведь если нос вовремя не прочистить, то и гайморит схватить недолго». Виктор был крупным, хорошо сложенным, привлекательным мужчиной, постоянно занятым собственной внешностью и отправлениями своего драгоценного тела; это было центром его мироздания, вокруг которого слабыми бестелесными тенями кружились все остальные; такой эгоцентризм мог быть свойствен красавцу атлету или, наоборот, жалкому инвалиду, но Виктор не был ни тем, ни другим, он отличался завидным здоровьем и поразительной ленью. Раньше он работал в компании по производству алюминированных материалов, но вскоре работы лишился. С тех пор он то помогал какому-то своему другу продавать подержанные автомобили, то куда-то исчезал с приятелями, которых звали Дон и Фред или Дуайт и Рой и которые занимались починкой телевизоров или заменой авточастей; в таких случаях Виктор даже приносил домой кое-какие деньги — всегда наличными. Иногда в старом гараже, который Виктор держал на замке, вдруг появлялась груда велосипедов. Мальчишкам страсть как хотелось до них добраться — новеньких, с десятью скоростями, — но Виктор однажды так врезал Далтону, посмевавшему лишь заикнуться о велосипедах, что тот пролетел через всю комнату. Виктор сообщил, что хранит велосипеды, делая этим одолжение своему другу Дуайту.

Майклу было четырнадцать, когда он обнаружил, что отчим занялся спекуляцией наркотиками и держит свои запасы — в основном метедрин — у Мэри в комод. Майкл и Айрин сначала решили передать Виктора в руки полиции, но обсудили этот вопрос и в конце концов просто спустили наркотики в унитаз, так никому ничего и не сказав. Как они могли разговаривать о таком деле с полицейскими, если даже с матерью поговорить об этом было

нельзя. Не стоило и гадать, знала ли она об этом; слово «знать» вообще в данной ситуации как-то не годилось. С уверенностью можно было сказать про нее лишь одно: она — верная жена, Виктор — ее муж, то, что он делает, всегда для нее хорошо.

То, что делал ее старший сын Майкл, тоже всегда было хорошо. Но самого Майкла это не удовлетворяло. Он даже считал, что это безнравственно. Если бы мать осталась верна мертвому отцу Майкла, тогда другой разговор, но она снова вышла замуж... В семнадцать лет Майкл ушел из дома и устроился в какую-то строительную фирму на противоположном конце города. С тех пор прошло два года, и Айрин видела его только дважды.

В детстве Айрин с Майклом — между ними было меньше двух лет разницы — очень дружили и делились друг с другом всем. Когда Майклу было около одиннадцати, он начал постепенно отдаляться от сестры, что она восприняла как нечто справедливое или неизбежное, поэтому, несмотря на некоторое чувство утраты, особого горя ей это не причинило. Но когда Майкл совсем повзрослел, то просто стал избегать ее. Он проводил время с бандой юнцов, переняв их презрительные выходки и словечки по отношению к женскому полу вообще и несколько не щадя собственную сестру. Это она расценила уже как настоящее предательство, которое к тому же совпало с тем периодом, когда отчим стал не на шутку к ней приставать, лапать ее по дороге наверх, в ванную, прижиматься к ней, когда они встречались на кухне; заходил к ней в комнату без стука и все время норовил залезть под юбку. Однажды он поймал ее за гаражом, и она все пыталась отделаться шутками и смехом, потому что никак не могла поверить, что он это всерьез, пока Виктор не упал на нее всей тушей и не накрыл ее сверху, как матрас. Он тяжело дышал и был похож на страшного зверя, и лишь по чистой случайности ей повезло, она удрала и отделалась вывихом кисти. После этого Айрин старалась никогда не

оставаться с ним в доме наедине и никогда не ходила на задний двор. Постоянное напряжение изматывало. Ей хотелось рассказать обо всем Майклу, получить от брата хоть какую-то поддержку, хоть самую маленькую. Но теперь она не могла сказать ему такое. Он станет ее оскорблять, обвинит в том, что сама позволила это Виктору, сама соблазнила и дразнила его. Он уже не раз оскорблял ее за то, что она женщина, а значит — объект вождления, а значит — нечиста.

Пока Майкл жил дома, если бы она действительно закричала, позвала на помощь, он бы, конечно, защитил ее. Но если бы Айрин закричала, то услышала бы и мать, а она не хотела, чтобы мать знала. Сама жизнь Мэри покоилась на беспредельной верности мужу, на заботе о семье — из этого, собственно, она и складывалась, ее жизнь. Разрушить это означало погубить ее. Если бы пришлось выбирать, если бы заставили обстоятельства, Мэри, возможно, и встала бы на сторону дочери, пошла бы против собственного мужа, зато потом Виктор вволю натешился бы, наказывая ее за предательство. Итак, после ухода Майкла у Айрин не осталось другого выхода, как тоже уйти из дома. Но она не могла просто так убраться и поминай как звали — вроде Майкла: привет, чудесно провели время. Ее матери было просто необходимо иметь рядом человека, на которого она могла бы положиться. За последние пять лет у нее из четырех беременностей три окончились выкидышем. Сейчас она принимала пилюли, но без ведома Виктора, который считал, что «противозачаточные средства задерживают оплодотворяющие клетки в железах», и был категорически против пилюль. И мать, возможно, послушалась бы его, но рядом оказалась Айрин, которая ее поддержала и помогла хранить эту их общую маленькую женскую тайну. У Мэри были нелады с кровообращением; она страдала пиореей и нуждалась в общем лечении зубов, что обошлось бы относительно недорого, если бы кто-то согласился возить ее в стоматологический

колледж по субботам. Виктор избивал ее, когда напивался, не то чтобы так уж сильно, но все же однажды вывихнул ей плечо. Большую часть времени она оставалась с ребятами одна, и если ей действительно станет плохо или он побьет ее, то никто скорее всего ничем ей и не поможет.

Она сказала дочери с теплотой, которая должна была в их отношениях заменить откровенность:

— Детка, почему ты все время торчишь в этой дыре? Тебе следует снять комнату в центре, недалеко от работы, и общаться с какими-нибудь приятными молодыми людьми. Когда-то здесь и вправду было хорошо, но теперь город сюда добрался — новостройки, мусор.

Айрин принялась защищать свое совместное проживание с Риком и Патси.

— Неужели ты считаешь Патси Сobotни своей подругой!

Мэри не переносила Патси за то, что та жила с Риком просто так. Однажды выведенная из себя Айрин накричала на нее:

— А что, по-твоему, такого распрекрасного в браке?

Мэри приняла удар не дрогнув, не пытаясь защититься. Она минуту постояла неподвижно, глядя через темную кухню в окно, потом ответила:

— Не знаю, Ирена, думаю, я старомодна в этом отношении и считаю брак тем, чем люди привыкли его считать. Но твой отец, понимаешь, Ник... С ним, понимаешь, секс и все остальное — все было прекрасно, понимаешь, не могу этого выразить, но, например, секс был только частью, частью чего-то очень большого. И все остальное, вся твоя жизнь, твой мир, понимаешь, — тоже как бы часть этого целого, ты сама его часть, когда муж и жена живут так, как мы с Ником. Не знаю, как это сказать. Но когда знаешь, как это бывает, когда сама такое переживешь, ничто другое уже особого значения не имеет.

Айрин молчала, видя на лице матери отблеск некоей глубоко запрятанной гордости и красоты и одновременно

сознавая ту ужасную истину, что всякая гордость и красота может быть исчерпана уже к двадцати двум годам, а потом можно прожить еще двадцать, тридцать, пятьдесят лет, работать, выйти замуж, вынашивать и рожать детей и делать все остальное — но совершенно автоматически, не имея ни стимула, ни желания.

Я дочь привидения, подумала Айрин.

Помогая матери убираться в кухне, она поведала ей о том, что Рик и Патси, похоже, скоро расстанутся.

— Ну так прогоните этого никчемного Рика и найдите себе с Патси подходящую девушку, чтобы жила с вами,— предложила Мэри, тут же проявляя женскую солидарность и становясь на сторону Патси.

— Не думаю, чтобы Патси этого захотела. Да и я тоже как-то не рвусь жить с ней в одной квартире и дальше.

— Но это все же лучше, чем одной,— сказала Мэри.— Ты вечно одна и одна, детка, никогда не развлечешься. Это же подумать только — в одиночку отправляться по стране автостопом! Ты бы лучше на танцы ходила. Или уж вступила бы в какой-нибудь туристический клуб, где бывают приятные молодые люди.

— Дались тебе эти приятные молодые люди, мама!

— Да уж приходится мне об этом заботиться,— спокойно ответила довольная собой Мэри. Потом подошла к Айрин, стоявшей к ней спиной у раковины, и нежно погладила дочь по пышным густым волосам.— Ужасная у тебя грива. Как у гречанки какой-то. От меня унаследовала, наверно. Надо тебе в центр переезжать. Подальше от этого болота.

— Но ты ведь живешь здесь.

— Мне и так сойдет. А вот тебе здесь не место.

Трое мальчишек ворвались в кухню, и Триз тут же заревела, потому что те отняли у нее коробку с хлопьями и стали набивать лакомством собственные рты. Вместе они обладали невероятной разрушительной силой, хотя по отдельности каждый из них был тихим, похожим на

мышонка мальчиком, с хрипловатым, едва слышным голосом. Мэри не следила за тем, что они делают вне дома, и там они были настоящими сорванцами; зато в доме желание соблюдать порядок оказывалось сильнее ее, в общем-то, равнодушного отношения к их дикой активности, и ребятам приходилось слушаться. Вот и сейчас Мэри быстренько навела порядок, усадила сыновей смотреть телевизор и снова вернулась к старшей дочери. Она улыбнулась своей нерешительной счастливой улыбкой, показывая плохие зубы и больные десны, и наконец рассказала главную, драгоценную новость, которая была слишком хороша, чтобы выложить ее сразу, и слишком хороша, чтобы долго молчать о ней:

— Майкл звонил.

— И что сказал?

— Ну, рассказал, как живет, расспросил о домашних, о тебе и об остальных. Он тоже машину купил.

— Почему же он не приезжает на ней сюда?

— Он очень много работает,— сказала мать и отвернулась, закрывая дверцы буфета.

Значит, он так много работает, думала Айрин, что способен навестить мать только раз в год. Хотя телефонный звонок — достаточно большое одолжение со стороны Его Величества Мужчины. И он швыряет эту подачку собственной матери, а та ловит и еще спасибо говорит...

Я больше этого не вынесу, просто больше не могу. Вот и теперь я зря сделала маме больно, сказав, что Майкл мог бы приехать на своей машине и навестить ее. Все, кого я знаю, только и делают, что причиняют друг другу боль. Все время. Мне действительно пора убраться отсюда. Я не могу больше считать это домом. В следующий раз, если Виктор попытается меня пощупать, если даже просто прикоснется ко мне или станет паскудно себя вести по отношению к матери, я его ударю, закричу, я больше не могу затыкать себе рот, и тогда будет только хуже, потому что это причинит ей еще большую боль,

а я ничем не смогу ей помочь и терпеть это больше не смогу. Любви! Что хорошего в этой любви? Я люблю мать. Я люблю Майкла так же, как и она. Ну и что? Господь милостив и не допустит, чтобы я когда-нибудь влюбилась. Любовь — это просто красивое слово, обозначающее способ задеть кого-нибудь побольнее. Не хочу в этом участвовать. Хочу убраться, убраться, убраться отсюда.

Поздно вечером, выйдя от матери, она пошла не вниз по дороге в направлении Челси-Гарденз, а свернула влево по грейдеру и шла до тех пор, пока путь освещал Викторов прожектор, а потом, срезая угол, снова свернула налево, прямо через поля. В темноте идти было неприятно, она спотыкалась о невидимые под жесткой травой твердые комья пересохшей земли, но фонарика не зажигала, боясь привлечь внимание подгородской шпаны в кожаных куртках, которая частенько болталась неподалеку от фабрики. Это был тот самый глупый страх, который портил ей все прогулки в одиночестве с тех пор, когда ее школьную подружку Дорис изнасиловала такая вот банда в одном из недостроенных домов Челси-Гарденз, тот самый глупый страх, от которого некуда было убежать, кроме как в вечернюю страну.

Но лесная тропа не вела вниз, к проходу между лавровым кустом и сосной, к ясному вечному вечернему свету. Было тепло и темно; вокруг громко пели сверчки, их пение заглушал постоянный тяжелый гул, от которого дрожала земля,— то ли поток машин на шоссе, то ли шум самого города, небо над которым светилось настолько сильно, что даже здесь, в лесу, тропа была хорошо видна. Но ниоткуда не доносился звук бегущей воды. Она сделала еще несколько шагов туда, к проходу — и повернула назад. Прохода не было.

Она вспомнила, как он тогда перешагнул через порог и пошел дальше, неуклюжий и совсем здесь чужой, а сумеречный свет катился перед ним как волна. Она тогда

испугалась; даже сейчас ей неприятно было об этом вспоминать. Это он во всем виноват. Это случилось с ним — не с ней! Она всегда могла вернуться обратно. И в тот раз вывела его она. А вот войти с этой стороны она могла не всегда.

А он мог? Вдруг сейчас он там, куда она пройти не может?

На следующий день после работы она снова пришла в лес Пинкуса и упорно приходила туда каждые два-три дня в течение двух недель, словно собственной настойчивостью и нежеланием сдаваться пыталась победить в этом странном состязании. В конце второй недели она стала приезжать каждый день, оставляла машину на фабричной стоянке и пешком шла через поля к лесу. Потом обнаружила, что уже протоптала в сухой августовской траве тропинку, и стала менять направление, стараясь не оставлять заметных следов, чтобы тот, другой, не смог за ней пойти. Но скрывать было нечего. Был лес, заросли ежевики, тропинка, дренажная канава, немного дальше, у подножия холма, изгородь из колючей проволоки, натянутой между деревьями. Парочка воробьев, щебечущих над головой, чуть слышный, словно далекий барабанный бой, шум машин на шоссе и звук города — как дыхание огромного, невиданного, спящего зверя в тридцать миль длиной. Жаркое послеполуденное солнце, мягкий голубоватый воздух. Обычно она стояла минутку там, где тропа должна была идти вниз, где должен был быть проход, потом поворачивала назад, тащилась через поля к машине и ехала домой. Она жила в нескольких кварталах к западу от Челси-Гарденз.

Патси и Рик переживали период внезапного бурного примирения, так сказать, последнюю любовную вспышку. Еще в субботу вечером, вернувшись от матери, она попала в самый разгар яростной ссоры. И тут же оказалась в нее втянутой — как член семьи. Когда Патси обвинила Рика в том, что тот спит с Айрин, она была вынуждена защи-

щать и себя, и его; когда Рик обвинил Патси в том, что та несправедливо делит деньги, Айрин вынуждена была заступиться за Патси, которая после этого на нее же и обрушилась, заявив, что Айрин якобы сталкивает всех лбами. Ссора длилась бесконечно долго, и она поняла, что ей остается только одно, и это давно уже следовало сделать: сложить вещи, расплатиться и убраться отсюда.

Патси и Рик просто обалдели и некоторое время пребывали в шоке. Потом Патси удивительно честно поделила банки с малиновым вареньем, которое они вместе варили в прошлом месяце, настаивая, чтобы Айрин взяла ровно половину; она все время плакала, слезы медленно текли по ее щекам, но прощальных слов Патси не произносила. Рик помог Айрин отнести вещи в машину, все время приговаривая: «Вот дерьмо! Ну и дерьмо!» Наступило воскресное утро, и в девятом часу Айрин наконец уехала. Она вела машину, где лежали две картонные коробки и чемодан без ручки, в которых поместилось все ее имущество, вниз по Челси-Гарденз авеню через площадь, мимо грейдера, к ферме. Три маленькие собачонки затыкали, а доберман начал давиться лаем, услышав в тиши воскресного утра звук подъезжающей к дому машины. Если не считать собак, то ферма в окружении изуродованных автомобильных кузовов выглядела необитаемой. Она подала назад и выехала со двора, повернула направо, на грейдер и припарковала машину у фабрики красок. Заперла дверцы и в очередной раз двинулась через заброшенные поля под жарким солнцем, обещающим настоящее пекло. Если проход закрыт, я буду ждать там, думала она. Сяду и буду ждать, пока он не откроется. Пусть хоть месяц... В голове у нее шумело после бессонной ночи и бесконечных споров, ссор, объяснений, обвинений, прощений. Она не завтракала, хотя около пяти утра съела коробку соленых хрустящих палочек и выпила кружку молока, пока Рик объяснял Патси, как она его терроризирует, а та внушала ему, что он женофоб... Я буду спать там, у порога,

и все время просыпаться и смотреть, не открылся ли проход, говорила себе Айрин. Откройся, откройся, откройся — слово билось у нее в голове в такт шагам. Жаркий свет дня слепил глаза. Откройте, глаза, постарайтесь увидеть. Откройся, дверь! Вот и лес, знакомая извилистая тропинка, вот канава, вот заросли ежевики, вот тропа идет вниз, вот сосна с красным стволом, вот порог и открытые двери — двери в мою страну, в мою дорогую страну, в дом сердца моего!

Сумерки окружили ее. Она напилась из ручья, перебралась на другой берег и немного прошла вверх по течению в укромное местечко за двумя кустами бузины, где — это было годы и годы тому назад! — она когда-то спала. Она легла там и немножко поплакала, жалобно и устало, как после потрясения, которое всегда испытываешь, если вдруг исполняется заветное желание. Потом уснула.

В волшебной стране она спала глубоко, без сновидений. Я сама себе снюсь, лениво думала она. Себе я снюсь, я снюсь себе, себе я снюсь, хоть и не ночь... Что это? И проснулась и напряженно села с бешено бьющимся сердцем, потому что ее вернул к действительности чей-то крик, какой-то нечеловеческий вопль, прозвучавший далеко в лесу. Неужели и правда кто-то кричал?

Ничего. Ни звука — только журчание ручья и дыхание ветра в вершинах деревьев. Небо спокойно. В лесу ничто не шелохнется.

Еще немного помедлив, она поднялась на ноги и осторожно огляделась вокруг, пытаясь заметить хоть малейшие перемены, знак опасности, беды. Это его вина, думала она, этого толсторожего, этого слизняка. Он здесь все изменил. Теперь все не так. Она рада была найти для своего беспокойства причину, к тому же вполне вескую. Но не обнаружив следов *захватчика* — кострища, спального мешка в чехле, почему-то вовсе не перестала тревожиться. Сердце продолжало бешено колотиться, она задыхалась. Чего это

я боюсь? — сердито спросила она себя наконец. Да еще здесь. Здесь-то уж точно нечего бояться. Здесь все так, как всегда, здесь всегда безопасно. Должно быть, мне все же приснилось что-то плохое. Хочу поскорей пойти в Тембреабрези. Хорошо бы прямо сейчас оказаться там, в доме, в гостинице. Есть хочется. Вот в чем все дело, мне просто хочется есть!

Она опять много и долго пила, чтобы заполнить желудок, потом сорвала несколько стебельков мяты — пожевать по дороге к Городу На Горе. Она двинулась в путь обычным своим быстрым и легким шагом, нет, поступь ее была еще легче и быстрее, чем всегда, потому что ее подгонял голод, страх тоже подгонял ее, и она не могла позволить себе остановиться и подумать об этом, потому что если бы остановилась, то и голод, и страх стали бы непереносимыми. Пока она шла, думать было не нужно, и сумрачный лес вдоль дороги проплывал мимо, как вода в ручье; так легко и быстро шла она, что никто не успел бы услышать ее шагов, никто не заметил бы ее, никто не преградил бы ей путь, раскинув широко белые морщинистые руки...

В окнах гостиницы горели свечи, словно там ее ждали. На улице не было ни души. Должно быть, уже поздно — время ужина или даже позже. При мысли об ужине: о супе, хлебе, рагу, каше — о любой еде — она почувствовала головокружение, и когда Софир растворил перед ней дверь гостиницы, и там было тепло и светло, и пахло едой, и звучал его густой бас, Айрин едва удержалась на ногах.

— Ох, Софир, — сказала она, — ужасно хочется есть!

На звук ее голоса пришла Пализо, которая хоть и не была особенно щедра на ласки, поцеловала Айрин и на минутку прижала к себе.

— Мы тревожились за тебя, — сказал Софир. Он увел ее в комнату и усадил у огня.

Действительно, было уже очень поздно: привычная компания разошлась по домам, огонь в камине почти дого-

рел. Софир и Пализо сновали вокруг, готовя ей воду для умывания, еду, и говорили не умолкая.

— А знаешь, ОН пришел! — сказала Пализо.

— Кто? — спросила Айрин.

Два таких знакомых, таких дорогих лица повернулись к ней, освещенные теплым светом камина; Пализо с улыбкой глянула на Софира, предоставляя ему право говорить за них обоих.

— ОН! — сказал Софир.— ОН сейчас здесь. Теперь дела пойдут лучше!

Сказал с таким теплом, с такой радостью и уверенностью в том, что Айрин тоже этому рада, что она не посмела ответить.

— Ну вот, все горячее,— сказала Пализо, ставя перед Айрин полную тарелку, при виде которой все остальное перестало волновать девушку. Окруженная запахами еды, покоем, теплом камина, друзьями, она поела; потом Софир приготовил ее комнату, ту самую, что окнами смотрела на темный обрывистый поросший лесом восточный отрог Горы.

Утром Софира дома не оказалось, а Пализо хлопотала по хозяйству, поэтому завтракала Айрин в одиночестве. Еды на завтрак было маловато: немного снятого молока, горшочек сыра и хлебец, такой жесткий и маленький, что не шел ни в какое сравнение с румяными чудесами прежней Софириной выпечки, и она с трудом решилась отрезать кусочек. Совершенно ясно: больше зерна купцы из Столицы сюда не возят.

Сначала, проснувшись, она подумала, что когда Софир и Пализо вчера говорили «он» и «он пришел», то имели в виду Короля. Поразмыслив получше, она решила, что имелся в виду не сам Король, а его посланец, который прибыл, чтобы открыть дороги, и обладал на это соответствующими полномочиями. Окончательно стряхнув с себя сон, она поняла, что ничего подобного они в виду не имели.

— Пойдешь сегодня наверх, в дом Хозяина,— сказала ей Пализо, проходя через кухню с целой охапкой белья, только что снятого с веревок.— Я немного простирнула твоё красное платье — уж больно оно мнется, пока в сундуке лежит. А чулки чистые у тебя есть? Посмотри-ка, нравятся?

— Интересно, а ОН там? — спросила Айрин. Поскольку этот «он» не жил в гостинице, его, должно быть, пригласили — как никогда не приглашали ее — пожить в доме Хозяина. Почему-то даже такая ерунда причиняла сильную боль, и она постаралась скрыть ее и настолько была поглощена этим, что не сразу расслышала ответ Пализо: — ОН? О нет, ОН в замке. Но Хозяин уже давно просил передать тебе, чтобы ты сразу же приходила к нему, как только снова у нас появишься.

Последние слова пролились ей на душу бальзамом. Раз так, «он» мог оставаться в замке сколько угодно.

— Очень красивые! — сказала Айрин, любуясь полосатыми чулочками, которые Пализо выложила поверх остальной одежды.— Только что связала?

— Да так, распустила четыре пары старых и выбрала нитки что получше,— лукаво ответила Пализо, чувствуя себя мастерицей на все руки.— Надень их сегодня, *леваджа*. Это тебе.

В новых ярких чулках и красном платье Айрин вышла на улицу и в сумеречном свете начала подниматься по неровным крутым ступеням вверх к дому Хозяина. Гуси в загоне у южной стены, огромные, белые, будто светящиеся в неясном свете, вытягивали длинные шеи и шипели; один вдруг захлопал крыльями. Она всегда немного побаивалась гусей.

Айрин постучалась в красивую наборную дверь, и Фимол, спокойная, невозмутимая как всегда, впустила ее и провела через зал, где с портретов мрачно глядели печальная старуха и однорукий старец, к двери кабинета Хозяина.

— Ирена пришла,— почтительно сказала Фимол своим ясным голосом.

Он повернулся от конторки, с нескрываемой радостью протянув ей навстречу руки: — Ирена, Иренаджа! Здравствуй! Мы по тебе соскучились!

Это я по тебе соскучилась, хотелось ей сказать. Но язык вечно отказывался повиноваться ей в присутствии Хозяина. Даже язык повиновался только ему.

— Входи и садись,— сказал он. Улыбка делала его лицо совсем молодым. Голос был добрый.— Расскажи, как ты сюда добралась? Трудно было? — Его темные глаза теперь смотрели прямо на нее.— Я все боялся, что ты не сможешь прийти,— проговорил он тихо и торопливо, глядя куда-то в сторону.

— Путь был закрыт... до прошлой ночи. Я хотела прийти... я пыталась!..

Он кивнул, глядя на нее мрачно и одновременно нежно.

Она пыталась подобрать нужные слова: — Я ничего не заметила, когда путь открылся... все было по-прежнему. Но я чувствовала... какой-то шум, может, я его и не слышала. В общем, что-то такое, чего я сейчас никак не могу припомнить...

Когда она стала рассказывать об этом здесь, в этой тихой комнате, ужас, который вчера на лесной тропе она не позволяла себе почувствовать, обрушился на нее ледяной, сбивающей с ног волной; она съежилась и задрожала на своем стуле. Голос ее звучал тоненько и ломко: — Я никогда раньше не боялась в лесу!

Она посмотрела в темное лицо Хозяина, надеясь найти там поддержку, желая, чтобы он поделился с ней своей силой.

Некоторое время он молчал; потом наконец тихо проормотал: — И все же ты пришла.

— И еще кто-то... Софир сказал мне, что еще кто-то пришел сюда, какой-то мужчина...

Хозяин кивнул. Было заметно, что он весь охвачен

неким сильным чувством, которое тщетно пытается скрыть. Наконец он произнес какое-то слово или имя — Айрин не поняла — *хьюраджа* и снова посмотрел ей в глаза, внимательно, вопрошающе.

— Он пришел с севера... из Столицы? — спросила она, хотя уже знала ответ.

— С юга. Как ты. По Южной дороге. Как ты сама пришла тогда в первый раз — не зная ни нашей страны, ни языка.

Любопытство, желание непременно узнать всю правду оказались сильнее боязни разочароваться или того, что ее оттолкнут.

— А он...— она не знала, как на их языке «светловолосяй, блондин»; у всех здесь волосы были темные.— А у него волосы цвета соломы? И он толстый?

Хозяин коротко кивнул.

— Нас всех пригласили в замок на встречу с ним,— сказал он. Что-то в его голосе насторожило Айрин — чуть заметная ирония, или гнев, или чувство обиды? — Пойдем.

— Прямо сейчас?

— Как можно быстрее, так сказал Лорд Горн.— Снова его голос прозвучал чуть суше, чем обычно, чуть ироничнее; но на нее он и не взглянул и, непроницаемый как всегда, повел к выходу, вверх по улице, прямо к высоким, изящным, открытым настежь воротам, от которых дорожка вела к замку. Он не проронил ни слова, пока они шли мимо деревьев и лужаек. Справа поднимались вверх склоны Горы, густо поросшие лесом, за которыми едва виднелись далекие скалы и вершины других гор. Перед ними открылся огромный дом, сложенный из рыжевато-коричневого камня, будто вобравшего в себя тепло и свет заката, последний солнечный луч.

Старый слуга провел их по холодноватым, полупустым величественным залам наверх в галерею с огромным количеством окон. Окна выходили на восточный склон, за которым ясно вырисовывались на фоне неба далекие горные

хребты. В камине, отделанном мрамором, горел огонь; возле камина, на дальнем конце галереи стоял Лорд Горн с дочерью и разговаривал с каким-то незнакомым человеком.

Ну конечно, это был он — лицо словно из теста, тяжелые кулаки.

Она взглянула на мужчину, шедшего рядом с ней: темные волосы, жесткий красивый профиль, сдержанный, уверенный, энергичный. Хозяин не сказал ни слова, не сделал ни единого жеста, но она чувствовала его ненависть так же ясно, как свою собственную.

Лорд Горн, как всегда негнувшийся, неторопливый, двинулся им навстречу. Его дочь бледно улыбалась. Как раз она-то была блондинкой, об этом Айрин совсем забыла; значит, не все они здесь темноволосые. А у этой девушки были светленькие кудряшки, похожие на овечью шерсть.

— Ирена — наш друг,— сказал Лорд Горн.— Наш гость и твой, как я полагаю, Ирена, земляк. Его зовут Хью-раджас.

Она видела, что он узнал ее,— на лице испуг сменился удивлением, потом надеждой, как маски в телевизионной комедии. Он неуклюже выдвинулся вперед, устремляясь к ней, и, запинаясь, сказал по-английски: — Привет, я... простите, что... я не знаю их языка, как вы и говорили.

Она чуть отступила назад, чтобы сохранить между ним и собой прежнее расстояние.

— Лорд Горн,— сказала она,— когда я здесь, то говорю на здешнем языке.

Этот *захватчик* и девица с бледным личиком мадонны так и уставились на нее, а Хозяин весь как-то подобрался, словно ястреб,— она заметила это по особому наклону его головы. Но Горн ничего ей не ответил; он только своим обычным долгим взглядом посмотрел на Хозяина. Повисла какая-то странная, тягостная тишина.

— Он не умеет говорить на нашем языке,— выдержав

паузу, сказал старый Лорд.— Может быть, ты сможешь нам поговорить с ним?

Хозяин не подал ей никакого знака. И мрачное выражение на лице Лорда Горна было требовательным. Нехотя и не слишком вежливо она повернулась к захватчику, не глядя на него, уставясь в натертый пол перед его ногами — обутыми в теннисные туфли огромного размера и грязные,— сказала: — Они хотят, чтобы я вам переводила. Говорите.

— Я знаю, вам неприятно, что я здесь,— произнес он.— Наверно, здесь я и впрямь чужак. Не знаю. Меня зовут Хью Роджерс. Если вы будете переводить для них что-нибудь из того, что я сейчас говорю, то еще скажите «спасибо». Они были ко мне очень добры.

Он запнулся, и она услышала, как в горле у него что-то булькнуло.

— Он говорит, что попал сюда по ошибке,— сказала она, поворачиваясь к Лорду Горну, но по-прежнему глядя в пол.— Он хотел бы поблагодарить вас за доброту.— Она старалась говорить безразличным тоном, как автомат.

— Мы рады ему, трижды рады.

— Он говорит, что вам здесь рады,— без всякого выражения произнесла она по-английски.

— Кто он? Я даже не знаю их имен. Вас зовут Рина?

Это на минуту выбило ее из колеи. Нет уж, он будет звать ее Ай-рин. Никто, кроме матери и жителей Города На Горе, не звал ее Ирена. И он, конечно, услышал это имя здесь. Все равно его это не касается.

— Это Аур Горн — Лорд Горн. Это Доу Сарк — Хозяин Сарк, мэр Тембреабрези. Это дочь Горна. Я не знаю ее имени.

— Аллия,— внезапно сказала девушка, обращаясь не к Айрин, а к Хью Роджерсу. Тот, как овца, уставился сначала на нее, потом снова на Айрин.

— Я думаю, что они принимают меня за кого-то совсем другого,— сказал он.

Она не стала помогать ему разобраться.

— Вы не могли бы сказать им, что я не здешний, что я пришел — ну, откуда-нибудь из другого места, что все это какая-то ошибка.

— Могу. Но это ничего не изменит.

В конце концов он почувствовал ее враждебность. Он перестал сутулиться, выпрямился и застыл.— Послушайте,— сказал он,— когда я пришел сюда, то было похоже, что они меня ждали. Они вели себя так, будто знали, кто я такой. Но я-то их не знаю и не могу сделать так, чтобы они поняли, что спутали меня с кем-то совсем другим.

— Вы даже не представляете, кто вы для них.

— Это они не представляют, а я знаю,— сказал он с неожиданной твердостью.

— Это все из-за того, что вы пришли сюда по Южной дороге.

— Но я вообще *не пришел*, а случайно *попал* сюда. Я и понятия не имел, что здесь есть город, я просто шел по тропе!

— Никто из них не может пройти по тропе. Никто из здешних. Только те люди, которые приходят... из-за порога.

До него все еще не доходило: — Не могли бы вы просто сказать им, что тот, кого они ждут — кто бы он ни был! — это вовсе не я?

Она повернулась к Лорду Горну: — Он умоляет меня сказать вам, что вы принимаете его не за того, кого ждете.

— Нет, мы ни за кого *другого* его не принимаем,— тихо ответил старик. В словах, которые он употребил, таился какой-то второй, неясный смысл. Она неуверенно перевела их на английский:

— Лорд Горн говорит, что вы тот, кем себя считаете сами, и им это известно.

— Кажется, я становлюсь тем, кем *они* меня считают.

— Ну и что в этом плохого? — фыркнула она.

— Я скоро должен вернуться назад. Они это знают?

— Они не станут вам препятствовать.

— Вы о чем-то предупреждали меня — там, у порога, в тот раз. Но о чем? Они опасны? Или сами в опасности?

— Да.

— Но в чем дело? Что им угрожает?

— Двойная опасность. Почему, собственно, я обязана вам что-то объяснять? С какой стати? Вы сами сказали, что чужой здесь. Вот вы и есть та опасность, та помеха... из-за вашего появления здесь все и началось. А я здешняя, это мой мир! Вы небось думаете, что я преподнесу его вам на блюдечке только потому, что вы мужчина и вам должно принадлежать все? Нет, здесь положение вещей иное!

— Ирена,— сказал Хозяин, приблизившись к ней,— в чем дело? Что он сказал?

— Ничего! Он дурак! Он здесь чужой, он не должен быть здесь! Вам нужно отослать его немедленно и навсегда запретить здесь появляться!

— Что происходит? — как всегда медленно спросил Лорд Горн.— Ты ведь не знаешь этого человека, Ирена?

— Нет. Я его не знаю. И не желаю знать. Никогда!

Аллия сказала своим легким ровным голоском, обращаясь к отцу: — Ирена говорит так, потому что боится за нас.

Лорд Горн посмотрел на дочь, на Сарка, потом на Айрин. Его глаза, почти бесцветные глаза старика, поймали ее взгляд.

— Мы называем тебя своим другом,— сказал он.

— Я и есть ваш друг,— яростно ответила она.

— Да, ты наш друг. И он тоже. Зло не приходит к нам по этой дороге — твоей дороге, Ирена. Ты пришла, чтобы передать ему наши слова, он — чтобы послужить нам; все так, как и должно быть. Первый и второй, второй и первый. Этой дорогой идут всегда двое.

Она стояла молчаливая, испуганная.

— Я пойду одна,— прошептала она.

Глупые слезы затуманили ей глаза, и пришлось отвер-

нуться, и успокоиться, и вытереть нос и глаза платком, который Пализо предусмотрительно положила в карман ее платья. Было трудно вновь повернуться к ним лицом. Когда она все же повернулась, лицо ее вспыхнуло.

— Я постараюсь сделать то, о чем вы меня просите,— сказала она.— Что я должна ему сказать?

— То, что сама сочтешь нужным,— ответил Лорд Горн своим глухим ровным голосом.— Говори от нашего имени.

К ее полному замешательству, он отошел и встал рядом с Аллией, мрачно глядя на Сарка, а потом едва заметно и сухо кивнул ей и Хью Роджерсу и вышел вместе с дочерью и Сарком из зала. Она осталась с чужаком лицом к лицу.

Он сел было на стул, который оказался для него слишком узок, потом неловко поднялся, отошел и встал у высокого окна.

— Простите меня,— сказал он.

С востока в зал струился холодный свет. Она подошла поближе к камину. Внезапные слезы оставили в душе холод и оцепенение. Она должна сделать то, что обещала.

— Вот то, что они хотели сказать вам — насколько я их поняла, разумеется. Здесь случилось что-то дурное, по какой-то причине они не могут покинуть пределы города. Никто не может пройти по дорогам. Кроме нас, тех, кто приходит с юга. Они чего-то боятся и, похоже, все сильнее. Но вот пришли вы, и теперь они надеются на какие-то перемены.

— А что может измениться?

— Может исчезнуть их страх.

— Но откуда он? Ведь только здесь я ничего не боюсь! — Он отвернулся от окна.— Я ничего не понимаю — ни их языка, ни того, почему в этой стране не бывает ни ночи, ни дня, но меня никогда это не пугало. Чего здесь можно бояться?

— Не знаю. Я совсем не так уж хорошо понимаю их язык. Да они и не любят говорить об этом, а может, до ме-

ня просто не доходит что-то. Мне они отвечают, что не могут выйти из города и никто не может прийти сюда из долин.

— Из долин?

— С севера, от подножия Горы. Через долины дорога ведет в Столицу.

Она вдруг увидела его глаза — серо-голубые или синие, огромные на тяжелом, бледном, тоскующем лице. Он стоял к ней лицом, но смотрел мимо, невидящим взором уставился вдаль, за сумеречные равнины.

— А вы туда когда-нибудь ходили?

Она покачала головой.

— А в какой стороне море?

— Не знаю. Я не знаю, как на их языке будет «море».

— Все ручьи бегут на запад,— сказал он тихо. И посмотрел на нее жадно, взволнованно. Он стоял наклонив голову, словно молодой бычок — под выющимися волосами наморщенный напряженный лоб, грубоватое лицо, тревожные глаза. Давным-давно на какой-то книжной обложке она видела картинку: в крошечном помещении стоит человек с головой быка на плечах. Потом ей порой даже во сне вспоминался этот кошмар — человечье тело с ужасной тяжелой звериной головой.

— Вы знаете, где мы находимся? — спросил он.

Она ответила: — Нет.

Помолчав, он сказал: — Мне скоро нужно уходить. Я боюсь опоздать. В следующие выходные я мог бы прийти на целую ночь — там целых два дня свободных. Если они хотят, чтобы я для них что-то сделал, то я могу попытаться... Я имею в виду ночь — по часам... А вы... вы заметили, что примерно шестьдесят минут по часам здесь равны суткам, я хочу сказать, целому дню и ночи, если...

— Если бы здесь были день и ночь,— закончила она. Было очень странно говорить о подобных вещах с кем-то еще, слышать, как кто-то еще говорит об этом.— А как вы

в первый раз нашли проход? — спросила она из чистого любопытства и, уже спросив, поняла, что растратила весь свой гнев, приняла тот факт, что Хью тоже здесь, и дала понять это ему.

— Я...— Он заморгал. В горле у него снова что-то булькнуло.— Я бежал... убегал... от... не знаю. Понимаете, я все время какой-то пришибленный, потому что не занимаюсь тем, чем хочу.

— А чем вы хотите заниматься?

— Ничем. Особенным.— У него получились две совершенно отдельные фразы.— Просто я хотел учиться, а вот не сумел настоять.

— А где вы хотели учиться?

— В библиотечном колледже. Но это вовсе не важно.

— Нет, если всю жизнь об этом мечтаешь, то, конечно, важно. А кем вы работаете?

— Кассиром в бакалейном отделе.

— А-а-а.

— Платят хорошо. Вообще-то работа неплохая, знаете ли. А как вы попали сюда в первый раз?

— Убежала. Тоже.

Но тут слова застряли у нее в горле. Она не могла рассказывать обо всем этом — об изнасилованной Дорис, о кошмаре, который творился дома, обо всем, что случилось так давно,— говорить об этом сейчас не имело ни малейшего смысла. Она сбежала от этого. Она пришла сюда. Здесь ничего этого не существует. Здесь мир, тишина, ничто не меняется, остается таким же. Здесь никогда не нужно было задавать вопросов — ты просто возвращалась домой. Ему этого не понять, он здесь чужой. Она не могла рассказать ему, что приходит сюда потому, что здесь ее любовь, ее Хозяин. Никто об этом никогда не узнает, никто не сможет понять того, что является средоточием и тайной всей ее жизни, того, о чем она молчит. Несмотря на его возраст, положение, непохожесть на нее и даже его жестокость, несмотря на то, что их разделяло, разносило

в разные стороны, все-таки рождалось нечто вроде желания, не внушавшего страха, вспыхивала порой искра безответной любви, не требующей расплаты, не вызывающей боли. А единственная цена этому — ее молчание.

Она молчала.

Юноша, почти заслонив своей массивной фигурой оконный проем, стоял, отвернувшись от нее, глядя вдаль.

— Мне бы так хотелось остаться,— почти прошептал он.

Потом решительно отвернулся от окна и пошел прощаться с хозяевами. Она задержалась для того только, чтобы перевести его обещание непременно вернуться Лорду Горну, который принял это без единого вопроса. Потом Айрин сразу же ушла из замка. Бредя по дорожке парка к железным воротам, она думала о пути назад, который вскоре ей предстоял. Смотрела на темные отроги гор, далекие серые скалы. Гора над ней хранила тяжелое молчание, словно придавила все звуки свинцовой крышкой, даже те, что всегда здесь присутствовали. Айрин вздрогнула и обхватила себя руками, словно в ознобе, потом двинулась дальше. Зачем вообще возвращаться? Он должен идти назад, но ей-то какое до этого дело. Зачем ей проделывать весь этот длинный путь через темные леса, переступать порог, почему не остаться здесь, в волшебной стране?

Она и раньше, бывало, так уговаривала себя, уютно лежа в своей просторной тихой комнате в гостинице. Почему бы просто не остаться здесь навсегда, никогда не возвращаться назад... Но ей так и не удавалось придумать, что делать здесь, если остаться, как приспособиться к жизни города, который в ней абсолютно не нуждается. Она пришла сюда в поисках помощи и одновременно желая помочь, научилась у местных женщин прясть и чесать шерсть, ходила с ребятишками на Долгий Луг, спускалась с торговцами в город Трех Источников, веселила людей своими ошибками в языке, а потом снова уходила. Это был не ее дом; она всегда называла это своим домом, но ника-

кого дома у нее вообще не было. Она жила в гостинице и нигде — ни здесь, ни где-либо еще — не обрела родного крова.

Айрин, обхватив себя руками, оцепенело стояла у железных ворот замка.

— Ирена.

Она обернулась и увидела его. Он улыбался ей.

— Пойдем ко мне.

Она молча пошла за ним.

В зале с двумя каминами она остановилась, он тоже остановился и повернулся к ней лицом.

— Позволь мне пойти на север — ради тебя, — сказала она. — Позволь мне пойти в Столицу. Лорд Горн меня не пошлет. Он пошлет того мужчину. Позволь мне пойти ради тебя.

Говоря это, она представляла долгий путь через сумеречные долины, поблескивающие крыши башен, ворота, прекрасные улицы, выложенные серым камнем, ведущие вверх, ко дворцу... Она видела себя гонцом, спешащим по этим улицам. Она еще не верила в такую возможность, но уже представляла это себе.

— Вместе со мной, — сказал Хозяин. — Ты пойдешь вместе со мной.

Она уставилась на него, совершенно растерявшись от неожиданности.

— Тот человек сегодня уходит. Завтра утром встретимся у двора Гайяра.

— Ты можешь... мы можем пойти вдвоем?

Он коротко кивнул. Его лицо было мрачным, печальным, а у нее внутри неудержимо пела радость: «О мой хозяин, любовь моя, вместе!» Но вслух она не произнесла ни слова — как и всегда, молчала об этом.

Сарк сделал несколько шагов. — Лордом буду я, — сказал он как-то очень тихо, легко и сухо. — Не он и не тот, а я.

Потом обернулся и со странной улыбкой посмотрел

на Айрин. — А ты не боишься? — как всегда чуть насмешливо спросил он.

Она только головой помотала.

Рано утром, позавтракав, она вышла из гостиницы; там, где Южная дорога сливалась с городской улицей, повернула налево, мимо лавки плотника Венно и дома старой Гебы. Она шла очень быстро, грубые прочные башмаки отбрасывали юбку при ходьбе так, что из-под нее сверкали полосатые чулки. Пальцы судорожно стиснуты в кулаки, губы сжаты. Немоощная улица привела ее к заброшенному двору каменотеса. Там, устроившись между стволом кедра и глыбой грубо обтесанного камня, она стала ждать — вначале беспокойно, потом погрузившись в пассивное оцепенение настолько, что когда увидела, что он наконец идет, не только не испытала облегчения, но даже и как-то не очень осознала, что уже пора. Чувства ее существовали как бы отдельно от ума и тела. Она смотрела, как он идет — гибкий, худощавый, темноволосый человек со смуглым красивым лицом, — и ей казалось, что она никогда раньше его не видела и совсем не знает. Он двигался торопливо, несколько напряженно и даже не остановился, подойдя ко двору каменотеса. Он и на нее-то не посмотрел. Только и сказал: — Пошли.

Она догнала его уже на дороге. Он выглядел как обычно, только надел шерстяное пальто и на ремне болтался в ножнах какой-то нож или кинжал вроде тех, что были у торговцев, которые отправлялись вниз, в долину. Но все же что-то в нем переменялось: он был тот же, но она его не узнавала.

Дорога чуть повернула. Теперь город и далекий порог оказались у них за спиной. Потом дорога пошла вниз, к расщелине между двумя крутыми красноватыми склонами.

— Вперед! — сказал он. А она всего лишь нарочно замедлила шаг, чтобы идти с ним рядом.

Она немного прошла вперед.

— Хозяин,— сказала она, оборачиваясь. Он стоял и смотрел на нее с очень странным выражением. Потом сделал несколько шагов вперед, точно по направлению к ней, как бы на ее голос, словно был слепым. Ей стало страшно.

— Подожди здесь,— сказал он каким-то тонким голосом, и она заметила, что у него дрожит подбородок.— Подожди, я...— Он снова остановился. Осмотрелся вокруг. Голова у него тряслась. Он глядел на край расщелины и, мимо Айрин, дальше на дорогу. Потом сделал еще шаг вперед и вдруг с каким-то пронзительным, переходящим в свист воплем попытался повернуть обратно, но колени у него подогнулись, он рухнул на четвереньки и пополз, извиваясь и падая, вверх по дороге. Они не успели отойти от двора каменотеса и сотни метров.

Наверху она догнала его.— Хозяин,— проговорила она,— пожалуйста, не надо, ведь совсем не страшно...— и попыталась взять его за руку. Но он в панической слепой ярости оттолкнул ее так, что она отлетела на другую сторону дороги, и бросился назад, в город, все еще крича этим тонким свистящим голосом.

Она поднялась на ноги, голова чуточку кружилась, саднила рука, ободранная о камень. Она отряхнула юбку и сколько-то минут постояла, оглушенная. Потом медленно подошла к гранитной глыбе, лежавшей неподалеку, и усеялась на нее, плотно обхватив себя руками и втянув голову в плечи. Ее подташнивало, и хотелось помочиться; в конце концов она присела в канаве под старыми кедрами. Наверху, возле дома Гебы чуть слышно блеяли козы. Она вернулась к камню и стояла, тупо разглядывая следы зубила на его поверхности и рисунок гранита.

Мне не было страшно, сказала она себе, но не была уверена, правда ли это: настолько испугал ее его страх.

Он никогда не простит мне, что я видела его таким, подумала она, и знала, что это правда, и не могла вынести

мысли о том, что это так.

Она прошла мимо двора каменотеса, дома Гебы и лавки Венно.

Я могла бы, я смогла бы пройти по этой дороге, если бы не он, сказала она себе мстительно, сердито; но в глубине души знала, что и это неправда. Ни с ним, ни одна — не прошла бы она в Столицу. Все было неправдой, сплошной ложью, бахвальством, глупыми мечтаниями. Никакого выхода не было.

Она провела в Городе На Горе только этот день до конца и переночевала. Теперь ей уже не хотелось оставаться здесь. Все было испорчено и здесь тоже, а по ту сторону вообще полная неустроенность. Надо еще найти где жить. А потом посмотрим; можно, наверно, и сюда вернуться. Да, если ей этого захочется, она вернется сюда. Она никому не слуга. Она будет делать то, что захочет.

Когда Айрин вышла на Южную дорогу, сердце у нее бешено колотилось, но то была всего лишь боязнь чужого страха, ничего более; она уверенно пошла вперед.

Назад она не оглядывалась. *Только не оглядывайся назад, не смотри через плечо.* Это она усвоила давно, еще ребенком — она тогда очень боялась темноты и по загадочному ночному лесопитомнику всегда бежала бегом. Если оглянешься, тут тебе и конец. И на улицах города, когда позади тебя раздаются шаги, а перекресток еще очень далеко, тоже нельзя оглядываться, нужно идти вперед. Дорога шла вниз очень круто, а густой лес придвинулся со всех сторон; раньше она никогда не замечала, как плотно растут здесь деревья, как тесно сплелись их ветви. Она попыталась было идти совсем бесшумно, но потом решительно эту затею отбросила, потому что вот тут-то и крылся страх. Наконец впереди она услышала журчание воды. Третья Речка, большой ручей у подножия горы. Звук бегущей воды был прекрасен — единственная музыка, существовавшая в ее волшебной стране. Вряд ли там можно было увидеть птицу, да птицы и не пе-

ли никогда, никогда не пели и жители Тембреабрезии, даже дети. Слышался лишь шепот ветра или его шум высоко в ветвях деревьев, и только вода пела во весь голос, потому что текла из источников более глубоких, чем страх. Она подошла к ручью на дне оврага, широкому и мелкому, который сверкал и искрился в зарослях ольхи, старой, поросшей мхом, согнувшейся над водой; ручей весело спорил с каждым валуном, преграждавшим ему путь. Айрин перешла на тот берег, встала на колени у кромки воды и напилась. Теперь между нею и Горой бежала вода, и на сердце стало легче.

Она двигалась в привычном полузабытии равномерной ходьбы — тело напряжено, а мозг занят такими долгими рассуждениями, что их было бы трудно воплотить в слова, потому что вряд ли в языке нашлись бы столь длинные слова и выражения, — как вдруг сторожевые центры тихонько приказали ей остановиться, и только когда она застыла как каменное изваяние и прислушалась, мозг ее наконец сформулировал вопрос: «А что случилось?»

Впереди слышался странный шум. То, чего она боялась, осталось далеко позади, а там, впереди!.. там впереди, у поворота метался, будто на привязи, страшный белый бык! В руке она держала палку, свой «дорожный посох» — так она называла его про себя, — и, замахнувшись что было сил, ударила этой палкой прямо по ненавистной башке.

Удар пришелся бы ему прямо в лицо, но, пробираясь сквозь заросли, он поднял в этот момент руку, которая и спасла его. Он остановился, чуть откинув назад голову с открытым ртом и громко дыша. Его глаза показались ей похожими на глаза быка — того, с человеческим телом, в маленькой комнате. Ее рука застыла, сжимая сломанную палку. Она отступила назад, на тропу, потом еще на один шаг, не сводя с него глаз.

Его рот, жадно хватавший воздух, закрылся, потом снова раскрылся. — Я не могу, — выговорил он, толстый, задыхающийся, и помотал головой. — Не могу выйти отсюда.

Потом он сел, прямо-таки рухнул на заросшую густой

травой обочину дороги. И сидел, опустив голову, тяжело уронив руки на колени, в той простой позе, которая выражает полное изнеможение. Теперь и у нее уже подогнулись колени, и она уселась по-турецки чуть поодаль от него, положила сломанную палку рядом и потерла вывихнутое плечо.

— Ты что, заблудился?

Он кивнул. Его грудь поднималась и опадала.

— Не нашел прохода.

— Ты ведь ушел из города два дня назад.

— Тропа идет дальше, за порог.

— Так ты не сходил с тропы? Просто прошел... прошел по ней за порог?

— Я думал, что где-нибудь она выведет меня из леса.

— Ты с ума сошел! — прошептала она, сердясь и восхищаясь этим упрямым мужеством.

— Это было глупо,— подтвердил он хриплым басом.— В конце концов я повернул назад. Но похоже, потерял тропу.— Он машинально поглаживал руку в том месте, куда пришелся ее удар. Значит, это его рубашка белела в зарослях, когда она приняла его за быка. Рубашка при ближайшем рассмотрении оказалась не такой уж белой — пропотела и была вся в грязи.

Она открыла кошель, висевший у нее на поясе, и достала хлеб, который дал ей Софир,— сыр она весь съела, когда останавливалась у Третьей Речки, но половина черствого черного хлеба у нее осталась. И она протянула ему кусок через тропинку.

Он взглянул на нее, медленно взял хлеб и стал есть так, как ей никогда не доводилось видеть: держа кусок обеими руками и склоняя к нему голову — словно пил или молился. Очень быстро от хлеба не осталось ни крошки. Только тогда он поднял голову и поблагодарил ее.

— Пошли,— сказала она, и он тут же встал. Внутри у нее что-то дрогнуло и перевернулось от жалости, она физически ощутила чужое страдание, увидев его покорные плечи и бледное, измученное лицо.— Пора идти,— повторила она ласко-

во, как ребенку, и повела его за собой вниз по тропе.

После Средней Речки она спросила, не хочет ли он отдохнуть; он сказал, что опаздывает; они пошли дальше.

Наконец они добрались до последнего спуска, до любимого источника, до порога. Она не стала мешкать, его страх подгонял ее. Она вела его прямо через ручей, через поляну, между высокой сосной и лавровым кустом, через порог.

Наверху, там, где тропу заливали жаркие и яркие лучи солнца, где на востоке замирал за горизонтом звук летящего самолета, а с шоссе несло запахом горелой резины, она остановилась и подождала, пока он догонит ее.— Все в порядке? — спросила она, слегка торжествуя в душе.

— Угу,— кивнул он. Лицо у него было серое, морщинистое, словно у пятидесятилетнего, на щеках двухдневная щетина, как у последнего лентяя, пьяницы или наркомана, обалдевшего, с трясущимися конечностями.

— Ну, парень,— с жалостью сказала она,— и видок же у тебя!

— Мне надо поесть,— ответил он.

Теперь, раз уж они прошли вместе столь долгий путь, то и дальше продолжали идти рядом.

— Ты каждую неделю приходишь? — спросила она.

— Каждое утро.

Это слегка задело ее.

— И всегда можешь войти? Проход всегда открыт?

Он кивнул.

Чуть погодя она вздохнула: — А я всегда могу выйти.

Они вышли из леса Пинкуса. Солнечный свет над заброшенными пастбищами был таким ярким, что пришлось остановиться: слепило глаза. Над городом с запада напознала густая пелена смога. Солнце нещадно палило сквозь повисшую над землей дымку, воздух был пропитан удушливым запахом городских испарений. Каждая травинка отбрасывала четкую тень. Вокруг стоял неумолчный звон цикад, то оглушающе резкий, то будто затихающий вдали. В лесу позади них резким голосом прокричала какая-то птица. Глаза

щипало, на лицах выступила испарина.

— Слушай,— сказал он.— Насчет того твоего знака. Ты извини. Но я не мог удержаться.

— Да ладно. Я понимаю.

Она пожала плечами, глядя через поля на далекое шоссе. Машины тянулись по нему длинной металлической цепочкой, сверкающей в солнечных лучах.

— Это мне не принадлежит,— сказала она.— Да я чаще всего уже и попасть туда не могу.

Они двинулись в путь через поля.

— Я прихожу сюда примерно в половине шестого каждое утро,— сказал он.

Она промолчала.

— Но я не успею до работы добраться до того города и вернуться назад...— медленно размышлял он вслух.— В следующий выходной... Там у нас будет День труда*... Так что мы не работаем и в воскресенье, и в понедельник. Вот тогда я смогу. Они... Мне показалось, что они просили меня вернуться.

— Просили.

— Хорошо. Значит, тогда я смог бы прийти и остаться надолго.— Он снова погрузился в молчание, потом вдруг сказал: — Если ты этого хочешь.

Через пятнадцать—двадцать шагов пояснил: — Ты помогла мне оттуда выйти.

Айрин прокашлялась и сказала: — Ну ладно. Когда?

— В шесть утра, хорошо? В воскресенье.

— Договорились.

Когда они подошли к обочине грейдера, он свернул направо.

— А у меня машина припаркована вон там,— показала она.

— А, ну ладно. Тогда до свидания.

— Эй!

* День труда в США отмечается в первый понедельник сентября.

Он продолжал идти, без конца спотыкаясь.

— Эй, Хью!

Он обернулся.

— Хочешь, подвезу? Ты говорил, что опаздываешь. И вообще, где ты живешь?

— На Кенсингтонских Высотах.

— Ну и прекрасно.

По дороге к автостоянке она сказала: — Отсюда, должно быть, довольно далеко пешком. Машина-то у тебя есть?

— Да слишком много приходится платить за нашу паршивенькую квартиру,— сказал он с внезапной злобой.

— Мой отчим мог бы продать тебе машину долларов за пятьдесят.

— Да-а-а?

— Она бы целую неделю ездила.

Он не совсем понял шутку и не отреагировал на нее. Видно, оступел от усталости. В ее машине ему пришлось совершенно скрючиться на переднем сиденье. Он был крупнее всех, кто когда-либо ездил с ней, казалось, вся машина заполнена им одним. От него пахло застарелым потом — специфический запах сильно испуганного зверя. Волосы у него на руках были бронзово-золотого цвета. Ляжки толстые. Она ничего не говорила, лишь только спрашивала, куда ехать дальше. Она высадила его у шестиквартирного дома, который он ей указал, и тут же уехала, с облегчением избавившись и от присутствия этого быка, и от его звериного запаха. Она не сказала ему, где живет сама, хотя мимо фермы они проезжали. А жила ли она там? Нигде она не жила, во всяком случае в данный момент. Она была уверена, что Рик и Патси уже снова помирились, но все равно, черт с ними. Мать не станет возражать, если она немного поживет на ферме, и все обойдется нормально, если не особенно попадаться Виктору на глаза. Может, вообще ничего плохого и не случится. Она бы спала с Триз, может, это его удержит. А вдруг нет? Впрочем, в любом случае больше идти некуда, пока не подыщется новое жилье. Возможно, в центре.

Так ли уж нужна она матери? Может, она сама в ней нуждается? Стоит попробовать. Хорошо бы найти человека, который согласится снять квартиру пополам. У светофора она достала из коробки на заднем сиденье будильник — он лежал поверх остальных вещей — и посмотрела на стрелки. Было четверть третьего. Она могла бы пойти домой, свалить куда-нибудь свое барахло, помыться, чего-нибудь поесть, а потом начать поиски квартиры. Может, подвернется и такая, которую она смогла бы оплачивать в одиночку. В воскресных газетах особенно много объявлений насчет квартир, и еще не поздно будет поехать и посмотреть. Может быть, уже сегодня удастся найти что-то подходящее, тогда, если так повезет, вообще не будет необходимости ночевать на ферме.

5

Это было так, как если бы он ослеп, а она приблизилась к нему, и зрение его вмиг прояснилось, и он увидел ее. А увидев ее, впервые увидел и этот мир, и смотреть на него другими глазами было теперь невозможно. Теперь каждое действие, каждый предмет обладали собственным смыслом, понимать который, как и понимать язык жизни, научила его она одним своим прикосновением. Вокруг все было по-прежнему, но и в этом теперь таился свой смысл. Яблоки — три штуки за двадцать девять центов — и консервированный пудинг со скидкой — восемьдесят девять центов за первые шесть банок, — ладно, все это так и осталось, но теперь он понимал тайный смысл чисел и слов, структуру речи, красоту мира. Теперь он замечал лица, в которые раньше никогда не всматривался, словно боялся, что красота мира может его испугать. Люди стояли в очереди к его кассе спокойные, раздраженные, покорные голоду, заставившие покориться ему и своих детей. Смертным необходимо есть, вот они и стояли здесь, в очереди, подталкивая вперед свои проволочные кор-

зинки. Вот так по очереди они доберутся и до собственной смерти. Люди казались такими хрупкими. Они бывали порой язвительными, злобными, когда уставали до полусмерти, а средства не позволяли им приобрести желаемое или даже необходимое; он чувствовал их гнев, но гнев этот не раздражал его больше и не пугал, потому что все теперь соединилось с мыслью о ней и под воздействием этого воспринималось иначе. Личико малыша, которого тащила вдоль прилавка усталая мать, выражало теперь для него достоинство и терпение, а тяжелая, бессознательно милосердная хватка материнской руки, державшей сына, могла вызвать у него слезы, боль, как от пореза или ожога. Вещи причиняют боль. Раньше его чувства были словно заморожены. А теперь действие наркоза кончилось, душа его ожила, а потому чувствовала боль. Но где-то внутри этой боли, в самом ее корне крылась радость. За каждым словом, которое он произносил или слышал, за всем, что он видел и делал, стояло ее имя, а вокруг ее имени ореолом, светоносным шлемом — неколебимая радость.

Он вглядывался в каждую светловолосую женщину, проходившую по магазину. Ни у одной из них не было таких волос — мягких и светлых-светлых, завивающихся в крутые локоны, как шерстка у овечки, — но все равно он смотрел на них тепло и приветливо, потому что они походили на нее хотя бы уже тем, что были светловолосы. Да здесь и не могло быть женщины, по-настоящему на нее похожей. И ни одна здешняя женщина не говорила на том языке. И только ее голос звучал так чисто и нежно. В последний из тех трех дней, что он провел в Городе На Горе, она была одета в зеленое платье с узким лифом и мягкой широкой юбкой, очень красиво облежавшее ее гибкую девическую фигурку и подчеркивавшее необычайную белизну точеной шейки и тонких запястий. В ней словно отразилась красота всех остальных женщин мира, но ни одна из них нисколько не была на нее похожа. Да этого и быть не могло: там, в той стране, где его душа обрела себя, такая женщина лишь одна.

В книгах он читал, что мужчины порой могли отдать жизнь за прекрасную даму, но всегда считал это просто привычной метафорой, не более. И лишь теперь понял, что это значит на самом деле. Он ощущал в себе страстное, неистребимое желание отдать возлюбленной все до последней капли, все без остатка, отдать все, все... Защищать ее и охранять, служить ей, умереть за нее — сама эта мысль уже была необычайно сладка, радостна; он даже дыхание затаил — сладкая боль пронзила его словно кинжал.

— Ты случайно не вступил в секту этих Свами Маха-Джиджи или как их там, а, Бак?

Он засмеялся.

— У тебя что-то глаза косят совсем как у этих волосатых хари-кришнеров,— сказала Донна.

Она добродушно поддразнивала его, и он не смог долго молчать. Он рассказал ей о чуде, случившемся с ним, все, что было можно.

— Я встретил девушку! — сказал он.

— Я так и знала! — удовлетворенно и с радостью ответила Донна.

Но ей, конечно, хотелось бы знать куда больше, и он пожалел, что сказал даже эту малость. Это было неправильно. Он не имел права говорить здесь о чем-либо, принадлежащем вечерней стране. Для этого не было слов. «Я встретил девушку» — это не совсем правда. Дело в том, что он встретил Принцессу, полюбил ее, готов отдать за нее жизнь. Как может Донна понять это?

Сердце у Донны было доброе, и она, казалось, поняла, что ему неловко оттого, что он проговорился, и перестала его поддразнивать и вообще задавать какие бы то ни было вопросы на эту тему. Но когда она смотрела на него, глаза ее заговорщицки поблескивали. Ему неприятно было это видеть. С Донной у них прекрасные отношения. Она очень милая женщина, но разве может кто-нибудь просто так понять, что произошло с ним? Странная страна, тайна, трагический, неясный страх, светловолосая женщина в опасности,

женщина, которую он молча любит, обожает, которой поклоняется в вечной тишине и вечных сумерках лесной страны.

Мир обычного дневного света и приходящих на смену дню ночей всю неделю казался ему странным. Он думал, что нетерпеливое желание поскорее вернуться в Город На Горе сделает ожидание невыносимым, но этого не произошло. Он поистине по каплям пил эти дни, как драгоценную влагу, когда — на работе ли, на улице или дома — лелеял мечты о своей Принцессе и позволял ее имени заполнить весь свой разум, и это было гораздо лучше, чем неуклюже стоять перед ней со связанным языком, не имея возможности хоть что-то сказать и лишь догадываясь, что сказала она.

На той неделе по утрам он к источнику не ходил. Боялся, что проход будет закрыт, и не хотел рисковать. Он сам себе не доверял. Почему тогда он вел себя так глупо, продолжал идти вперед, хотя прохода не было, упорствовал, зная, что путь никуда не ведет? Если бы, увидев, что проход закрыт, он тогда сразу повернул к Городу На Горе и попросил ту темноволосую девушку помочь ему, то избежал бы кошмара бесконечных блужданий, когда он уговаривал себя, что если будет идти все время прямо, то непременно выйдет из леса, избежал бы паники, охватившей его при мысли, что он потерял тропу, и ужаса, и голода. Вел он себя глупо, нелепо и добился лишь того, что не только ужасно устал и теперь, всю эту неделю, с трудом дотягивал до конца рабочего дня, но еще и перестал верить в себя, в безопасность вечерней страны.

— Как раз этого я и боюсь,— сказал он той девушке, когда они стояли с ней в доме Аллии, в длинной комнате с окнами, из которых лился чистый вечерний свет, но теперь это уже нельзя было считать полной правдой. Он еще очень мало знал о поджидающей его там опасности, но понимал, что знает об этом слишком мало. А опасность там явно была, и он не был уверен, что поведет себя достаточно разумно. Учитывая и это, и ненадежность пути в вечер-

нюю страну, он понимал, что его шансы на возвращение туда и невозвращение примерно равны. Он воспринимал это как некое нормальное равновесие между двумя разными мирами и соглашался с его справедливостью. Здесь-то и крылась для него возможность совершить тот подвиг, которого он так жаждал. Но, находясь пока в обычном мире, с его обычными проблемами, чаще всего, правда, надуманными, уместающимися в рамках одной-единственной жизни, он предпочитал наслаждаться дневным светом.

Он испытывал угрызения совести по отношению к матери, нечто сродни горестной терпимости в сочетании с потенциальной неверностью, которая усиливалась из-за материной неумемной сварливости. Она не прощала ему ничего. Например, в воскресенье он вернулся часа на два позже, чем обещал, и тут же на его голову обрушился целый поток обвинений во вранье. Он мог понять ее раздражение по поводу того, что опоздал, но не понимал, почему его неподдельная усталость, впрочем, довольно неуклюже объясненная тем, что «перепутал в лесу тропинки», вызвала с ее стороны такое негодование и возмущение. «Ты заблудился в лесу? А с какой стати ты там оказался? Если сам за себя отвечать не способен, то просто глупо, глупо и бездарно вести себя столь самонадеянно! Такие, как ты, должны заниматься гимнастикой в закрытом зале. Куда тебе участвовать в каких-то там походах. И что ты, собственно, пытаешься доказать?» — и так далее. И все это говорилось с таким уже неконтролируемым раздражением, что, как ему показалось, главной причиной гнева было не то, что он вернулся домой в таком состоянии, а то, что он вообще вернулся. Но какая, в сущности, разница.

Потом три или четыре вечера подряд она провела у Дурбины и возвращалась после своих сеансов только около полуночи. В их спиритуалистской группе появилось несколько новичков, а у самой миссис Роджерс определенно обнаружился талант медиума: ей удавалось записывать грезы, не впадая в транс. Благодаря ее дару они

теперь постоянно «общались» с одним из прежних воплощений Дурбины — жрицей Исиды*. Кофейный столик в доме Роджерсов был завален книгами о Древнем Египте, взятыми у Дурбины или купленными матерью, несмотря на высокую цену, в магазине. Когда «жрица Исиды» в своих высказываниях противоречила положениям современной науки или исправляла какое-нибудь ошибочное толкование иероглифа, миссис Роджерс праздновала победу. Иногда, вернувшись домой, она захлеб рассказывала о том, что произошло во время сеанса; но если Хью пытался вставить слово, тут же спускалась с облаков на землю. «Ну разумеется, тебя подобные вещи не интересуют!» — говорила она, совершенно не слушая, что спросил или ответил сын. Он видел, что мать счастлива в кругу этих людей, которые боготворят и ценят ее и ее необычайный дар, видел, что после сеансов мать расцветает. Но свою радость и счастье она никак не могла принести с собой домой. И новые интересы лишь усиливали ее неприязнь и недоверчивость по отношению к сыну. Хью был просто не в состоянии хоть как-то ей угодить. Стирая, она возмущенно жаловалась на заношенные носки, на то, что у рубашек грязные воротнички, а сами рубашки он все зазеленил травой, что майки не вывернуты на лицо и тому подобное, но если он сам пытался стирать, она снова все перестирывала, потому что он якобы делал это безобразно. Если Хью приносил из магазина что-то купленное на распродаже или просто стоящее, она тут же заявляла, что все это «вчерашняя дрянь», и оставляла продукты тухнуть в холодильнике до тех пор, пока он сам не выбрасывал их в помойку. Когда они оставались дома вдвоем, он постоянно чувствовал, что мешает ей, однако она и не собиралась освобождать его от обязанности бывать дома, когда она возвращается вечером. Но если она половину вечеров в неделю проводит вне дома, если ей не-

* Исида — в египетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, покровительница мореплавателей.

приятно его присутствие, на котором она тем не менее настаивает, то как они будут сосуществовать потом, когда он вернется?.. Впрочем, он в любом случае намеревался осуществить свое путешествие в вечернюю страну, и в сравнении с этим все притязания матери и ее упрямое, неприязненное молчание ничего не значили. Ее грубость и нетерпимость по-прежнему задевали его, но уже не так глубоко; мысли Хью словно выбрались из накатанной колеи. Он и удара ножом, пожалуй, не почувствовал бы, когда бродил, погруженный в мысли об Аллии.

Это все жара, говорил он себе, все просто с ума посходили от этой жары.

Долгие дни этой недели он прожил почти в полном молчании. Ночами он спал не крепко, короткие сны перемежались бесконечными пробуждениями, и не единожды за ночь, когда еще далеко было до рассвета, он вставал и стоял у окна, глядя на звезды или на первые торжественные проблески зари.

В пятницу Донна, у которой в субботу был выходной, спросила его, что он собирается делать на праздники, и он с готовностью ответил: «Поеду автостопом с одной компашкой». Донна одарила Хью тем скользким мимолетным взглядом, который словно намекал, что, полюбив женщину, он тем самым заслужил одобрение всей женской части человечества, которую она, Донна, здесь представляла. Вот только было ли это одобрением? Когда чуть погода она глянула ему прямо в глаза, выражение ее лица изменилось. Она положила руку ему на плечо.

— Смотри, чтобы с тобой ничего не случилось, Бак,— сказала она.

— А что со мной может случиться в такой поездке?

— Не знаю! — сказала она так, словно удивлялась самой себе, и постаралась скрыть свое удивление смешком.

Но ее взгляд, и сами слова, и прикосновение ее полной, сильной руки с покрытыми красным лаком ногтями показались ему — а он сейчас так в этом нуждался! — чем-то

вроде залога безопасности, заверения в том, что существует по крайней мере один человек, которому он небезразличен, пусть даже от этого никакого реального проку и нет, но она каким-то шестым чувством угадала, что он может оказаться в опасности или в беде.

Если бы дар его матери-спиритуалистки позволил ей заметить в сыне такое, она бы тут же поставила это ему в вину как свидетельство неверности и никогда бы его не простила.

В пятницу вечером он сказал ей, что собирается уехать на все воскресенье с ночевкой. Целую неделю он старался это выговорить. И сейчас, заикаясь, бормотал давно обдуманную чушь про то, как поедет с компанией автостопом в национальный парк, расположенный к северу от их города. Они уедут рано утром в воскресенье, проведут там весь день и всю ночь, а после обеда в понедельник вернутся. Она ничего не сказала. Все время, пока он говорил, она не отрывала глаз от телевизионного экрана, он даже не был уверен, что она его слышала. Несмотря на растущее чувство собственной вины, мешавшее ему нормально дышать, он сказал все до конца и умолк, не задавал больше никаких вопросов, не смел даже спросить, разрешает ли она ему поехать, одобряет ли его поездку,— а он так нуждался в ее одобрении, нуждался всегда, но никогда его не получал... Он даже и рассердиться на нее не посмел, и через некоторое время, когда окончилась ее любимая программа и она встала и выключила телевизор, он лишь спросил, стараясь говорить самым нормальным тоном, как прошел у нее вчерашний сеанс. Она не ответила. Взяла книгу об Аменхотепе IV и молча, на него и не взглянув, погрузилась в чтение. Он попытался убедить себя, что ее молчание перенести гораздо легче, чем бесконечные попреки, но, сидя с ней вот так в одной комнате и тщетно пытаясь читать «Тайм», вдруг почувствовал, что его всего трясет, словно в ознобе. Он встал и ушел к себе. На его «спокойной ночи» она не ответила.

Обычно по утрам в субботу она вставала чуть позже, но на этот раз поднялась и уехала еще до того, как Хью проснулся. Он пошел на работу как обычно. День выдался тяжелый — предстояло два дня праздников. Когда он вернулся домой, матери еще не было. Он поужинал в одиночестве. В половине одиннадцатого она наконец явилась и показалась ему какой-то ужасно худой, мрачной и взъерошенной в своем платье из набивного ситца. На его приветствие она не ответила, а прямо из холла прошла в свою комнату.

— Мама, — сказал он, и, видно, было в его голосе что-то такое, что заставило ее остановиться, но она так и не обернулась. Молчание встало меж ними тяжелой, плотной стеной.

— Не имеет смысла так меня называть, — сказала она отчетливо и сухо, прошла к себе и захлопнула дверь.

А кого же мне так называть? — подумал он, застыв на месте. Ему казалось, что у него вдруг что-то отняли, вырвали прямо из живого тела; он обхватил себя руками, пытаясь защититься. Нет такого человека, которого имело бы смысл называть отцом, а теперь и такого, кого имело бы смысл называть матерью... Что за чудо, выходит, я родился без родителей? Да, смысла в этом никакого, тут она права. Ну а то, другое, вечерняя страна? Этот город, Аллия? Все это тоже чепуха. Детские выдумки. Но я-то не ребенок. У детей есть отец и мать. А я не ребенок, и у меня их нет. У меня ничего нет, и сам я никто. Он стоял там, в гостиной, постепенно осозная, что в этом-то и заключается правда. Именно в этот миг он вспомнил — чисто физически, телом, а не умом — прикосновение руки Донны к своему плечу, цвет лака на ее ногтях, звук голоса: «Смотри, чтобы с тобой ничего не случилось, Бак». И тогда он отвернулся от двери, ведущей в материну комнату, пошел обратно в кухню, а потом в свою комнату и приготовил все, что ему понадобится завтра утром:

одежду и пакет с хлебом, салями и фруктами в расчете на долгий путь к той Горе.

Он проснулся в три, потом в четыре. Он бы, пожалуй, встал, но не имело смысла выходить из дому так рано — девушка будет ждать его у порога в шесть. Он повернулся на другой бок и снова попытался заснуть. Предрассветные сумерки заполнили комнату, в их неясном свете предметы не отбрасывали теней, как и в вечерней стране. В изголовье тикал будильник. Он посмотрел на собственные руки, смутно белевшие в неясном свете. Там, в той стране, часов не было. Там не было и времени. Не река времени сдвигает с места стрелки часов, а простой механизм, и, видя, как двигаются стрелки часов, люди говорят: «Время проходит, проходит время...» — но часы, изготовленные их же руками, лгут. Это мы проходим сквозь время, думал Хью. Идем пешком, движемся вдоль ручьев, рек, иногда можем даже перейти их вброд... Так, в полудреме он пролежал до пяти. Когда пискнул выключенный будильник, он встал и ногами почувствовал холод пола. За две минуты Хью оделся и вышел из дому.

Порога он достиг, когда не было еще и шести. Девушка уже ждала.

Он так и не знал точно, как же ее на самом деле зовут. Когда люди вечерней страны произносили ее имя, оно звучало не то «Райна», не то «Дана»; она поправила его, когда он сказал «Райна», но он не понял, что сказала она сама. «Эта девушка» — так он называл ее про себя, и эти слова уже напоминали тьму, гнев, звуки бегущей воды в ручье. И вот она стояла там, у зарослей ежевики в голубоватом, пыльном, теплом свете раннего утра, под негустой листвой деревьев, на тропе, ведущей к проходу. Заслышав его шаги, она подняла голову. Ее бледное лицо несколько не смягчилось, но она протянула к нему руку ладонь вверх: ладонка вся была в лиловато-красных пятнах, на ней лежали ягоды ежевики. «Они почти поспели», — сказа-

ла она и высыпала ягоды ему в ладонь. Ягоды были некрупные и сладкие, пропитанные долгой августовской жарой.

— Ты пробовала пройти? — спросил он.

Она сорвала еще несколько ягод и, протянув их ему, пошла за ним по тропинке.

— Проход был закрыт, — сказала она и немного прошла вперед и увидела, как тропа, будто в туннель, уходит в заросли. — А теперь открыт!

— Открой же снова, Финнеган, сюда ведет мой путь*, — сказал Хью, следуя за ней. Но на пороге, на границе двух миров, на минуту остановился и оглянулся — он никогда этого раньше не делал — на оставшийся позади дневной свет: пыльная листва, между листьями промытая солнцем голубизна, крохотная коричневая птаха перепархивает с ветки на ветку... Потом повернулся и пошел следом за девушкой — в сумерки.

Опустившись на колени, чтобы совершить обычный ритуал первого глотка из источника, он увидел, что девушка уже проделала то же самое. Она стояла на коленях на плоской скале и глядела вниз, на бегущую воду, и поза ее уже не выражала ничего молитвенного или ритуального, но по тому, как застыло ее тело, он понял, что эта вода была для нее, как и для него самого, священной. Будто очнувшись, она огляделась и встала. Они перешли на другой берег ручья и пошли дальше, в глубь вечерней страны, пошли вместе. Она шла впереди и молчала. С тех пор как они перестали слышать звук бегущей воды, лес вокруг погрузился в полную тишину, листья застыли — ни малейшего ветерка.

После беспокойной, полной пробуждений ночи голова у Хью была тяжелой, и он с удовольствием шел через лес в полном молчании, бездумно следуя за уверенно прокладывающей путь девушкой. В мыслях и чувствах царила

* Не очень точная цитата из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» (1939).

неразбериха. Он просто шел и снова почувствовал, что мог бы идти вот так до бесконечности, ощущая на лице лесную прохладу, легко продвигаясь все дальше и дальше под недвижными ветвями деревьев. Он без страха предался своему теперешнему состоянию. Когда в тот раз, сбившись с пути, Хью прошел мимо порога, его больше всего ужасала мысль, что он так и будет идти и идти вперед под деревьями, окруженный сумеречным светом, и этому никогда не наступит конец; но теперь, точно следуя заданному маршруту, находясь на правильном пути, он чувствовал себя абсолютно спокойным. А в конце этого долгого пути он видел Аллию — словно звезду.

Девушка остановилась на тропе и ждала его — невысокая, крепкая фигурка, джинсы, рубашка в голубую клеточку, круглое мрачноватое лицо.

— Я проголодалась, не хочешь остановиться и перекусить?

— А что, уже пора? — спросил он, словно очнувшись.

— Мы дошли уже почти до Третьей Речки.

— Ладно.

— Ты что-нибудь с собой захватил?

Он все никак не мог собраться с мыслями. Только когда она выбрала место для привала недалеко от тропы, на берегу маленького речного притока, он понял ее последний вопрос и предложил ей хлеб и салями. Она вытащила черствые булочки, сыр, крутые яйца и мешочек с маленькими помидорами, которые довольно-таки здорово помялись за дорогу, но все же своим ярким, чистым красным цветом радовали глаз в этом мрачноватом месте, где все остальные цвета были как бы приглушены, где ни разу не встретилось ни одного цветка. Он положил свои припасы рядом с ее; потом взял ее помидор, а она взяла ломтик его салями; после этого они уже не обращали внимания, кто чью еду ест. Он съел гораздо больше, чем она, обнаружив, что ужасно голоден, но поскольку он ел быстрее, насытились они примерно одновременно.

— А у этого города есть название? — спросил он, сбросив наконец остатки сна и почему-то чувствуя себя теперь значительно более отдохнувшим, и уставился на последний кусочек хлеба с салами.

Она произнесла два слова или одно длинное на языке вечерней страны.

— По-английски это просто «Город На Горе». Так я его называю, когда думаю о нем.

— Да, я, пожалуй, тоже. А что ты... Ты однажды назвала как-то это место, как-то по-другому. Всю страну.— Он повел рукой с бутербродом, как бы желая охватить все — деревья кругом, сумрачные горы, реки позади и впереди них.

— Я называю это «волшебным краем»,— она сверкнула на него глазами недоверчиво, как на чужака.

— Это они так говорят?

— Нет.— Теперь она говорила совсем неохотно.— Это из одной песни.

— Из какой?

— Однажды к нам в школу на вечер пригласили исполнителя народных песен, который эту песенку пел, и она почему-то застряла у меня в голове. Я и половины слов не понимала — она не то на шотландском, не то на каком-то еще. Я, например, не очень-то поняла тогда, что значит «родимый». Решила, что это вроде как «свой» или «милый». — Голос ее звучал обиженно, даже сердито.

— Спой.— Хью попросил об этом почти шепотом.

— Я и половины слов не знаю,— сказала она и потом, не глядя на него и опустив голову, запела:

Бутон цветка, на дереве лист —
Родимый кров меня хранит.
Но все же жаворонка песнь
В волшебный край манит...

Ее голос напоминал не то голос ребенка, не то какой-то птицы: резковатый, но чистый и нежный. Этот голос и прихотливая мелодия так подействовали на Хью, что у него

на голове зашевелились от волнения волосы, а глаза девушки вдруг слились в одно пятно, и пробрала дрожь — не поймешь, от ужаса или от восторга. Девушка глянула на него снизу вверх, посерьезнела, глаза ее потемнели. Он невольно протянул к ней руку, чтобы прекратить это странное пение, и все же не хотел, чтобы она умолкала. Никогда он не слышал такой прелестной песни.

— Нельзя! Здесь вообще нельзя петь! — сказала она шепотом, посмотрела вокруг, потом снова на него. — Я раньше никогда здесь не пела. Мне это даже в голову не приходило. Обычно я танцевала. Но не пела, никогда, я знала...

— Все в порядке, — рассеянно произнес Хью эти ничего не значащие слова. — Все будет хорошо.

Оба сидели неподвижно, прислушиваясь к слабому журчанию ручья в необъятной лесной тишине, прислушиваясь так, будто ждали ответа.

— Извини, это было глупо, — прошептала она наконец.

— Да что ты, все в порядке. А теперь нам, наверно, пора идти.

Она кивнула.

Пока они складывали свои пожитки, он съел еще один помидор на дорожку. Она снова пошла впереди, что казалось вполне справедливым, потому что она знала дорогу гораздо лучше, чем он. Он следовал за ней по той тропе, которая шла *вдоль оси* и которую она называла «Южной дорогой». За ними и впереди них, справа от них и слева все было тихо, и глубокий чистый вечерний свет оставался прежним.

Когда они перешли последний из трех больших ручьев и впервые начали подниматься круто в гору, он обнаружил, что произвольно вырывается вперед, вместо того чтобы, как и прежде, держаться на некотором расстоянии позади. Если сначала она шла очень быстро, то теперь то ли замедлила ход, то ли споткнулась.

У начала очередного подъема, где сквозь заросли тонких

и бледных березок над ними и впереди нависала громада Горы, она остановилась. В два прыжка догнав ее, Хью сказал: — Я бы не отказался от респиратора.

Подъем был крутой, и он подумал, что она, должно быть, устала, но не хочет этого показывать.

Она обернулась к нему — лицо совершенно замученное, какое-то опустошенное.

— А у тебя нет *такого* ощущения? — едва расслышал он ее голос.

— Какого *такого*?

Сердце у него екнуло и заколотилось так, что стало трудно дышать.

Она потрясла головой. Сделала легкий торопливый жест в направлении темной горной стены.

— Там впереди что-то такое есть?..

— Да,— произнесла она на вдохе.

— Мешает пройти?

— *Не знаю.*— Когда она говорила, зубы у нее стучали. Она как-то съежилась, согнулась, будто старуха.

Хью громко сказал: — Слушай, я хочу поскорее попасть в город.— Он сердился не на девушку, а на ее страх.— Дай я пойду первым.

— Мы не можем идти дальше.

— Я должен идти дальше.

Она в отчаянии помотала головой.

Твердо решив воспротивиться ее беспричинной панике, Хью мягко положил руку ей на плечо и начал говорить: — Мы можем...

Но она вывернулась из-под его руки так резко, будто это была не рука, а раскаленное железо; ее замученное лицо потемнело от гнева, когда она громко произнесла: — Никогда не прикасайся ко мне!

— Хорошо,— сказал он, испытав даже некоторое удовлетворение.— Больше не буду. Успокойся. Нам надо идти дальше. Они нас ждут. Я сказал, что приду. Пошли!

И пошел вперед. Он из принципа не оглядывался и не

видел, идет ли девушка сзади, но во время длительного спуска постоянно прислушивался к малейшему шороху, чтобы удостовериться, что она там. Когда тропа снова пошла вверх, он обернулся. Он знал, что значит испытывать страх в этих местах. Она шла за ним по пятам, не отступая и не сворачивая с тропы. Ее лицо все сжалось и напряглось, как пальцы в кулаке, и пряталось под густой шапкой волос. В вершинах деревьев ветер вздохнул так, словно принес звуки дальнего моря, лежащего где-то на западе, слева от оси, там, где сгущается тьма. А они шли, будто по границе между ночью и днем, по бесконечно длинной тропе. Тропа бежала все дальше и дальше, и если бы девушка не шла за ним по пятам, он бы, наверно, остановился. Склон горы не было видно конца, и он начинал уставать. Ни разу в жизни он не чувствовал себя таким усталым; во всем теле слабость, лень, которая могла бы показаться даже приятной, если бы можно было присесть и немного отдохнуть, прилечь, просто остановиться и отдохнуть... Идти все вверх и вверх тяжело, то ли дело спускаться вниз...

— Хью!

Он обернулся и в изумлении огляделся, пока не увидел ее. Она была не позади, а над ним, на склоне Горы; стояла среди темных елей. Здесь было почти темно, небо закрывали сплетающиеся ветви и нависающие скалы.

— Сюда,— прошептала она.

Наконец он понял, что она стоит на тропе, а он где-то в лесу сбился с пути. Крутой подъем к тому месту, где она стояла, дался ему нелегко.

— Я что-то начинаю уставать,— сказал он дрогнувшим голосом.

— Я знаю,— прошептала она. У нее был такой вид, будто она плакала, лицо опухло и покраснело.— Держись тропы.

— Ладно. Пошли.

В конце подъема под темными елями путь стал ровнее, но идти легче не стало, потому что на них навалилась еще большая, просто невероятная усталость, невыносимая тя-

жесть, непреодолимое желание лечь и больше не вставать. Теперь она шла рядом с ним — тропа была здесь достаточно широкой, похожей на настоящую дорогу. Где же она стала такой? Девушка подгоняла его, а он все пытался идти помедленней. Несправедливо! Ведь он же ее не подгонял, когда сама она не могла идти дальше.

— Вон там, смотри!..

Вдали, в холодном вечернем воздухе светились огоньки: костры, свет в окнах. Страх и усталость теперь казались лишь тенями, которые в приветном свете желтых огней они отбрасывали на дорогу.

Они вошли в город. Здесь, у первых домов, они остановились.

Девушка рядом с ним заносчиво вздернула вверх измученное, опухшее лицо. — Я иду в гостиницу, — сказала она.

Он пытался стряхнуть отупение. Теперь, наконец добравшись туда, куда стремился всей душой, он вдруг показался себе громоздким, неловким, неуместным. У него не хватало смелости предстать прямо перед хозяевами того большого дома, и не было понятно, куда еще можно пойти. — Я, наверно, тоже, — сказал он.

— Тебя ждут в замке.

— Где?

— В замке. Разве не там живет Лорд Горн? Это его дом. Там, где ты был в прошлый раз.

Она говорила резким насмешливым тоном. Почему она снова так настроена против него после всего этого тяжелого пути, что они прошли вместе? На нее нельзя положиться, нельзя ей доверять. Ей нравится смотреть, как он выглядит дураком? Что ж, такая возможность ей представится еще не раз.

— Пока, — сказал он и свернул в первый же переулок, который вел вверх по склону горы.

— Сворачивать нужно не здесь, а через улицу. Там, где ступеньки, — сказала девушка и пошла по направлению к гостинице, напоминая старинный галеон, украшенный

мачтами и фигурной резьбой.

Он пошел за ней, миновал гостиницу, повернул налево и стал подниматься по улице, больше похожей на длинную лестницу. В воздухе пахло дымом, как это бывает осенью; прозвенел голос ребенка, зовущего кого-то внизу, там, где город переходил в бледные луга и пастбища. Наверху, у самого последнего дома на этой улице он услышал странный шум: за низкой оградой загона шипели гуси. Хью понял это только тогда, когда совсем рядом увидел громадных белошеих птиц. Здесь, в этом городе, были птицы и домашние животные, звучали голоса людей, но никто не пел. Гуси шипели и хлопали крыльями. Хотя он и добрался наконец туда, куда страстно желал попасть, но чувствовал себя усталым и продрогшим, причем холод шел не снаружи, не был вызван ветром или ненастьем; он поднимался откуда-то изнутри, из самых его костей, упорный, изнурительный озноб.

Он прошел в железные ворота и по дорожке между лужайками приблизился к большому дому, островерхие крыши которого темнели на фоне вечернего неба, два окна отбрасывали на дорожку пятна света. Взялся за кольцо в виде бараньей головы с изогнутыми рогами и постучал.

Старый слуга открыл дверь, и Хью услышал собственное имя, произнесенное на здешний лад и звучащее по-иностранному, все в одно слово, но тепло и приветливо. Старик торопливо бежал перед ним по неосвещенным галереям и, открыв дверь в зал с кремовыми стенами, где в камине горел огонь, выкликнул то же самое, отчасти уже знакомое, удивительное имя: «Хьюраджа!»

В этой просторной, светлой комнате сидела Аллия. Она встала, уронив на пол какую-то свою работу, и пошла к нему навстречу, протягивая руки. Ее светлые волосы на этот раз были подняты в прическе наверх и набок. Никогда не знаешь, где и когда на твоём жизненном пути придет к тебе Красота. Он взял ее руки в свои. Он вполне мог в этот миг упасть к ее ногам. Он не знал ее языка, но по голосу

ее догадался о том, что она сказала: «Здравствуй, здравствуй, здравствуй же! Наконец-то ты вернулся!»

Он сказал: — Аллия!

Она снова улыбнулась и о чем-то его спросила. В ее глазах и голосе была такая нежная тревога, что он пожаловался: — Трудно было идти. И страшно. Я устал... — но, заметив ее жест, понял, что она всего лишь предлагает ему присесть с дороги, что он и сделал с благодарностью. Но тут ему пришлось снова встать, потому что вошел, сердечно приветствуя его, Лорд Горн, в тоне которого Хью почудилось что-то новое, он даже не сразу понял что: какое-то уважение. Этот старик, которого называют «Лорд», явно привыкший, чтобы все его почитали, выказывал по отношению к нему не только благосклонность, не просто выделял его из других, но как бы ставил на одну ступеньку с собой: словно они были из одной семьи, словно Горн разговаривал с таким его «я», о существовании которого сам Хью и не подозревал, а он, Горн, знал и ценил это его качество.

Дружелюбие Аллии, застенчивое и слегка манерное, было значительно менее серьезным. То, что они с Хью могли сказать друг другу, напоминало скорее урок иностранного языка, проведенный в спешке. Она радостно изображала жестами, знаками и гримасками то, что было ей понятно, смеялась и над своим непониманием, и над его ошибками. Но и в ней он тоже почувствовал к себе некое особое отношение, которое ему не хотелось бы называть «уважением», но и любовью он тоже не осмеливался его назвать; самое большее, что он пока мог предположить, это то, что она, похоже, к нему равнодушна, восхищается им — но почему? Что он такого сделал? Ничего. Как могла она ценить его столь высоко просто так? Не за что его ценить. И все же в ее мягком искреннем взгляде и голосе, и даже в ее смехе, когда он делал ошибки в языке, чувствовался какой-то подтекст, какая-то глубоко запрятанная причина для восхищения. Такого, какое он сам испытывал по отношению к ней, — но ведь она-то того стоила! Все, что она

делала, все в ней было восхитительно и прекрасно. И уж если восхищалась им, то разве по добросердечию, как бы в виде благожелательного аванса. В нем решительно нечем восхищаться. Но он готов был на что угодно, лишь бы на деле заслужить это, незаслуженное пока, восхищение, лишь бы стать тем, за кого она, видимо по ошибке, его принимала.

Они обедали в длинной комнате при свечах. Хью настолько устал, что трапеза прошла для него словно в теплом и светлом тумане. Оставшись в своей комнате, он почувствовал, что пьян от усталости. В этой комнате он провел и первые три ночи, и она сразу показалась удивительно знакомой: блекло-голубые стены с почти стершимся золотым рисунком, дубовое ложе, украшенная бронзой каминная решетка — все это было так приятно узнавать, словно когда-то хорошо известное. Странно, но эта комната напоминала ему мансарду в их первом доме, где они жили все вместе, с отцом и матерью. Его кровать тогда стояла у окна, откуда были видны темно-зеленые поля и голубые холмы Джорджии. Это была другая страна, да и времени с тех пор прошло много. Здесь на высоких окнах портьеры. В камине горит огонь — яркий и почти бесшумный. Кровать высокая и жесткая, простыни холодные, плотные, шелковистые на ощупь. Он лег в эту постель, а золотой огонек камина все просвечивал сквозь полуприкрытые веки, и Хью сразу заснул без сновидений, провалился в сон, безбрежный, теплый, темный. И когда он предался его убаюкивающей темноте, все тревожные мысли, яркие цвета, импульсы воли погасли, унеслись прочь; лишь на мгновение он услышал как бы поверх всепоглощающей тьмы сна тоненький голосок, похожий на голос птицы:

Бутои цветка, на дереве лист...

Он повернулся на бок и спрятал лицо в ладонях, прогоняя от себя эту песню туда, откуда она прилетела. Здесь ей не место, здесь цветы не дают бутонов, здесь не падают

на землю листья, здесь не поет ни один голос. Но здесь Аллия, которая протянула к нему свои руки. И он радостно пошел ей навстречу — во тьму сна.

6

«Почему я вернулась?» Этот вопрос звучал в ее мозгу упорно, беспокойно, словно плач ребенка. Она сердито набросилась на своего незримого собеседника: потому что я должна была вернуться! А теперь она должна и дальше делать то, что необходимо. Она поднялась по улице, состоявшей из множества ступенек, на самый верх, и Фимол впустила ее, и она ждала в прекрасной комнате с двумя каминами настолько напряженно и чутко, что все вокруг представлялось ей какой-то удивительной и яркой мешаниной из вдруг оживших образов, звуков, мыслей, не дававшей сосредоточиться.

Хозяин вошел в комнату. Не такой — сгорбленный, сжавшийся от ужаса, что-то бормочущий, ослепший от страха, — каким она видела его в последний раз. От этого и следа в его облике не осталось. Прямой, подвижный, спокойный и мрачноватый: Хозяин. «Здравствуй, Ирена», — сказал он, и, как всегда, язык отказался повиноваться ей, а сама она не в силах была противиться власти Хозяина и с облегчением приняла ее. Он — мой Хозяин!

Но по другую сторону этого неловкого и страстного самопожертвования, словно за стеклянной стеной, стояла некая холодная часть ее души и наблюдала за ним и за ней самой. Эта часть ее души не служила никому и никого не судила. Она наблюдала. Она с удивлением наблюдала, как Айрин выбрала один из неудобных парчовых стульев и усеялась на нем. Она наблюдала, как мужчина прошелся по комнате, и видела, что он рад наконец повернуться к девушке спиной.

Огонь в каминах не горел. Воздух в комнате был спокойный, странно неподвижный, как внутри морской раковины.

— Скоро нам придется резать наших овец,— сказал Хозяин.— На нижних восточных пастбищах совсем не осталось травы.

Нижние пастбища были ближе всего к городу, обычно их использовали только тогда, когда появлялись ягнята.

— Торговцы солью так и не пришли, мы не сможем заготовить много мяса впрок. И будет большой пир, пир страха...

Жители Тембреабрези держали овец не для мяса, а для шерсти; их богатством была тонкая теплая шерсть, которую они красили, пряли и ткали, а потом продавали торговцам из долины, чтобы купить все необходимое. Айрин часто слышала, как они хвастались: «У самого Короля плащ из нашей шерсти».

— И ничего нельзя сделать? — спросила она в ужасе оттого, что они пустят на мясо свою гордость и богатство — целые стада пушистых, красивых, озорных и терпеливых животных. Она много раз бывала с пастухами на верхних пастбищах, она носила на руках новорожденных ягнят.

— Ничего,— сказал он сухо, не оборачиваясь и продолжая стоять спиной к ней у окна и глядеть на сбегающие по террасам сады собственной усадьбы.

Айрин прикусила губу, почувствовав, что вопрос ее задел самое больное место, приоткрыв то, чего он больше всего стыдился. Она уже однажды видела собственными глазами, что он ничего поделаться не может.

— Есть вещи, которые мы могли бы сделать заранее. Животные первыми почуяли. Нам следовало обратить на них внимание. Вниз спускались целые стада диких коз, наши овцы не желали подниматься на Верхний Перевал, и все это мы видели. Мы знали о беде и все же ничего не предприняли. Не один я говорил, что можно и нужно что-то делать, пока не поздно. Были даже такие, кто заговорил об этом гораздо раньше меня. О том, что мы должны уплатить выкуп и заключить сделку. Но старухи заголосили,

ах нет, нет, не надо, это отвратительно, бессмысленно. Все старухи в один голос — и Лорд Горн среди них...

Теперь он повернулся к ней, но стоял спиной к окну, и она не могла рассмотреть выражение его лица. Голос Хозяина звучал безжизненно и сухо:

— Вот мы и согласились с тем, что советовали трусы. И все тоже стали трусами. Беспомощными трусами. И вместо одного жертвенного агнца придется пожертвовать всеми стадами. И не сыну нашего народа, а этому мальчишке, этому щенку, который даже языка нашего не знает, именно ему предстоит освободить нас! Лорд Горн был мудрым человеком когда-то! — но то было давно. Ах, если бы я сразу, как только мне пришла в голову эта мысль, пошел в Столицу! Но я выжидал, послушный его воле...

Она ничего не поняла из его последних слов, да и вообще из всей этой речи, но его гневный, обвиняющий тон вывел ее из привычной застенчивости. Она, ни минуты не колеблясь, спросила: — Что вы хотите этим сказать? Как это чужак может освободить вас? — И, когда он не ответил, продолжала настаивать: — И что же, собственно, такого он должен сделать?

— Подняться на Гору.

— И что сделать?

— То, зачем он сюда пришел. Так говорит Лорд Горн.

— Но он не знает, зачем он здесь. Он думает, что это знаете вы. Он ничего не понимает. Даже я чувствовала страх по пути сюда, а он нет.

— Герой не подвластен страху,— сказал Хозяин насмешливо.

Он подошел к ней чуть ближе.

— А чего или кого мы боимся? — медленно выговорила она, потому что в данный момент он сам казался ей страшным.— Вы должны сказать мне, что это такое.

— Я не могу сказать тебе, Иренаджа.

Его суровое лицо потемнело, глаза горели. Он улыбнулся.

— Видишь эту картину? — спросил он, и она глянула

туда, куда он показывал — на портрет хмурого мужчины. — Это мой прадед. Он был Хозяином Тембреабрези, как и я. Вот тогда-то и пришел этот страх. Он не стал слушать причитаний старух, а вышел из города и поднялся в горы, чтобы заключить сделку, — и заключил ее ценой собственной руки. Но дело было сделано, и все дороги стали опять свободны. В полном одиночестве он вернулся в город, и рука его была такой, как ты видишь. Считается, что ее ему чем-то сожгли. Но мой дед, который был тогда ребенком, рассказывал, что на ощупь она была холодной, холодной, как мертвое дерево зимой. Зато выкуп он заплатил за всех.

— Какой выкуп? — требовательно воскликнула Айрин, охваченная волнением и внезапным страхом. — Что он такое держал в своей руке, чего ею коснулся?

— Того, кого любил.

— Не понимаю.

— Ты никогда не понимала. Да и кто ты такая, чтобы понимать нас?

— Я вас любила, — сказала она.

— А ты бы сделала, как он? Во имя любви к нам ты пошла бы к плоскому камню? Стала бы там ждать?

— Я бы сделала все, что в моих силах. Скажите же, что надо делать!

Теперь его глаза жгли. Он подошел к ней так близко, что она почувствовала исходящий от его лица жар.

— Иди с ним, — сказал он шепотом. — С чужаком. Горн пошлет его. Иди с ним. Отведи его к Верхнему Перевалу, туда — к плоскому камню. Дорогу ты знаешь. Ты можешь пойти с ним.

— А потом?

— Пусть он заключит сделку.

— С кем? Какую сделку?

— Я не могу сказать тебе, — произнес он, и его темное лицо вспыхнуло и исказилось. — Я не знаю. Ты говоришь, что любила нас. Если ты любила меня, пойдти с ним.

Говорить она не могла, только кивнула.

— Ты спасешь нас, Ирена,— прошептал он и склонился к ней, словно желая поцеловать, однако прикосновение его губ было сухим, легким, горячим, не прикосновение — дыхание.

— Пустите меня,— сказала она.

Он отшатнулся.

Она не могла говорить, не хотела смотреть на него. Повернулась и бросилась через всю комнату к дверям. Он за ней не последовал.

Она не вернулась в гостиницу и к Триджэту не зашла. Она в одиночестве спустилась вниз по крутым улочкам и вышла из города с восточной стороны, миновав лавку Венно и дом Гебы. У двора каменотеса она присела на гранитную глыбу и прислонилась к стене; ломала мелкие изящные шишки местного кедра и думала; но это скорее напоминало не плавное течение мыслей, а какой-то поток тоски, в котором она должна была плыть до конца, подобно музыканту, которому обязательно нужно доиграть пьесу. Часто взор ее обращался к дороге, ведущей на север, в Столицу, той самой, по которой она пойти не могла.

На следующий день ее вызвали в замок. Она надела свое красное платье и первые попавшиеся чулки. Пализо попыталась было предложить ей новую пару и свои башмачки из тонкой кожи, «чтобы в доме Лорда выглядеть как подобает», но Айрин отказалась и вышла из дому в чем была, мрачная, с тяжелым сердцем, ощущая все то же тоскливое оупение, под которым, словно в холодных глубинах морских, тяжело лежал страх — подобно тому, как за теплыми прибрежными водами таятся неведомые бездонные пропасти.

Она ни разу не посмотрела на вершину горы, пока шла от чугунных ворот к замку.

Как и в прошлый раз, старый слуга проводил ее в галерею с множеством окон, и там ее встретили все те же люди.

Теперь Хью Роджерс был одет так же, как они. Из чувства протеста ей вдруг захотелось, чтобы на ней в данный момент оказались ее джинсы и рубашка; а через минуту Айрин пожалела, что не надела башмачки из тонкой кожи и красивые полосатые чулочки. Она разглядывала великолепный наряд Хью: узкие черные штаны, рубашку из плотного льняного полотна и длинный жилет, вышитый темными нитками. Костюм ему очень шел. Хью был, пожалуй, тяжеловат, но сложен хорошо; из высокого открытого ворота рубашки поднималась мощная белая шея, голова посажена прямо. Он радостно двинулся ей навстречу и о чем-то заговорил со своей обычной добродушной неуклюжестью. В новом, красивом костюме он казался абсолютно счастливым; старик одобрительно похлопывал его по спине, а дочь старика жеманно ему улыбалась, и уж точно для него предназначалось их богатое угощение, их внимание, дружба — все, чего могло пожелать человеческое сердце, — а потом отправляйся делать то, чего сделать нельзя, невозможно, и спасибо большое за службу, ведь ты за этим сюда явился, не так ли?

Хозяин был там, разговаривал со старым Гобимом и двумя другими горожанами. Она ни разу прямо на него не взглянула, но постоянно ощущала его присутствие, и при звуке его голоса сердце ее замирало в ожидании.

Дочь Лорда Горна стояла рядом с Хью. Теперь она говорила с ним, учила его использовать суффикс «-аджа», который они прибавляют к имени, если хотят выразить дружескую расположенность, назвать кого-то своим другом, и пыталась объяснить, что имя, которым они его называют — *Хьюраджа*, уже включает этот суффикс и эту расположенность и звучало бы смешно, если бы к нему прибавили еще что-то — *Хьюраджаджа!* — и, говоря это, она смеялась нежным веселым смехом. Он стоял, уставившись в ее фарфоровое личико, любуясь светлыми волосами, похожими на овечью шерсть. «Дурак, — подумала Айрин. — Идиот! Неужели не понимаешь?» Но, увидев мягкую линию

его губ, спокойные глаза, испытала лишь благоговейный ужас.

— Аллиаджа,— сказал он и стал красным — лицо, уши, шея — все резко покраснело под густыми, чуть взмокшими на лбу волосами; потом опять побледнело.

Аллия улыбнулась, нежная и холодная, как вода, и поздравила его с успехом.

— Они словно брат и сестра,— произнес кто-то рядом с Айрин, и она с изумлением поняла, что обращаются именно к ней, и с трудом вышла из своего созерцательного оцепенения.

Рядом с ней стоял Лорд Горн. Но смотрел не на нее, а на Аллию и Хью, словно любуясь их одинаково светлыми волосами, столь необычными здесь. Продолговатое лицо старика было как всегда суровым и спокойным. Айрин ничего не сказала, ее странно поразил этот интимный тон, в котором звучала скрытая ирония. Потом Лорд Горн повернулся к ней: — На этот раз ты подольше побудешь у нас, Иренаджа?

— Так долго, как буду вам нужна,— ответила она с горьким намеком. И тут же ей стало стыдно. Ведь именно Горн сказал тогда: «Твое мужество выше всяких похвал», и эти его слова она хранила как самое большое сокровище, как лекарство от душевной слабости и сомнений. Там, в другой стране, где она не могла обрести родного крова, она, не задумываясь, кто именно сказал ей эти слова, крепко держала их в памяти: *...твое мужество... у тебя есть мужество... Ты не заставишь свою мать делать выбор, который ее погубит, ты не попросишь ее о помощи, которую она тебе дать не в состоянии. Тебе не нужна помощь. Твое мужество выше всяких похвал.*

— Лорд Горн,— сказала она,— надо было мне пойти в Столицу, пока... пока люди еще могли пойти туда.

— В Столицу ведет не одна дорога,— сказал он.

— Вы когда-нибудь там бывали?

Он посмотрел на нее своими серыми глазами будто

издалека.

— Я бывал в Столице. Именно поэтому меня и называют Лордом,— сказал он доброжелательно, холодно, спокойно.

— Вы видели Короля?

— Его тень,— сказал Горн.— Я видел яркую тень Короля.

Но слово «король» почему-то было теперь употреблено в женском роде и, видимо, означало «королева» или «мать короля»; и все его слова вроде бы ничего не значили особенного, но она понимала какой-то их тайный смысл, понимала их так, как никогда ничего не понимала в жизни. Его глаза, по-прежнему глядевшие как бы издалека, уставились прямо на нее. Если я протяну руку и коснусь его, я все сразу пойму до конца, подумала Айрин. Исчезнет эта стена, я как бы буду одновременно там и здесь. Но, получив это знание, я погибну.

Глаза Горна мягко предупредили: «Не тронь меня, детка».

К камину, у которого они стояли, кто-то подошел. Она медленно обернулась и с равнодушием отметила, что это Хозяин Сарк.

— Ну, теперь, когда пришла Ирена, мой Лорд, мы можем более свободно объясняться с вашим гостем,— сказал Хозяин вполне официальным тоном, в котором слышалось некое скрытое нетерпение.

Старик посмотрел на него и, как всегда, заговорил не сразу: — Очень хорошо. Ты сможешь нам с ним объясниться, Ирена?

— Да,— сказала она. Она чувствовала, что наконец освободилась от того безразличия, от которого никак не могла избавиться, и вновь обрела уверенность. Она окликнула Хью; остальные гости тут же умолкли и собрались у каминного неплотным полукругом. Аллия стояла рядом с Хью, который смотрел то на нее, то на Айрин; глаза у него были живые, ясные, чистые, как у ребенка, а взгляд немного растерянный. Тут заговорил Лорд Горн, и Айрин стала

переводить.

— Мы просим тебя сослужить нам службу, просим о помощи.

Хью кивнул.

— Мы не имеем права ничего от тебя требовать. Если ты выполнишь то, о чем мы просим, то проявишь большую милость по отношению к тем, у кого не осталось надежды.

— Я понимаю.

— Мы ничем не можем помочь, хотя тебе будет угрожать опасность.

Немного помолчав, Хью спросил: — А что это за опасность?

Она не все поняла в ответе Горна, но постаралась перевести его слова как можно лучше: живущие здесь испытывают страх... страх этот, как он сказал, находится в них самих... и потому они не могут встретить врага лицом к лицу, может только кто-то *другой, не здешний*, только он может заставить врага отступить, заставить отступить этот страх... нет, я правда не понимаю, что он такое говорит.

— Спроси его, что это за враг.

Она спросила. Лорд Горн ответил: — Глаз, что видит, даст ему форму; ум, что знает, даст ему имя.

Во всяком случае, лучше перевести его слова она не могла.

— Загадки,— сказал, улыбаясь, Хью. Он задумался было над разгадкой, даже задал какой-то вопрос, но потом вдруг умолк, словно выжидая. К нему пришло терпение, подумала Айрин. Под внешней неуклюжестью в нем теперь чувствовалось достоинство. А может, он вовсе и не был таким уж неуклюжим?

— Что вы дадите ему с собой, мой Лорд? — спросил Хозяин.

— Шпагу, которая дана была мне, если он этого захочет,— ответил Горн.

— Что вы дадите ему для *передачи*, мой Лорд?

Она начала было переводить этот вопрос Хью, но вдруг поняла, что старик уже что-то отвечает — хоть и медленно, как обычно, но с каким-то странным, резким нажимом.

— Ты внук своего деда, Сарк, но где же дети его дочери?

— Все мы,— сказал темноволосый человек,— все мы ее дети.

— Дети страха. Это-то и связывает нас. И правые руки наши бессильны помочь нам. А ты не продашь нас снова, Сарк? Аллия, принеси шпагу.

Девушка подошла к сундуку, стоявшему у внутренней стены зала, встала на колени и откинула крышку.

Напряжение, возникшее между Горном и Сарком, было таким сильным, а причина его настолько неясна ей, что Айрин даже не сделала попытки перевести что-либо Хью. Вместе с ним она во все глаза смотрела на Аллию.

Окутанная летящим облаком светлых вьющихся волос, девушка вновь пересекла зал, неся на вытянутых руках яркую, тонкую полосу света. Она остановилась было напротив отца, но тот коротким повелительным жестом указал ей на Хью. Аллия подошла к Хью, улыбаясь, слегка приподняла руки, но губы и лицо ее были бледны.

Хью посмотрел на шпагу и едва слышно прошептал: — Боже мой!

Не поднимая глаз, не отрывая их от клинка, не глядя ни на Аллию, ни на Горна, ни на Айрин, Хью неуклюже, но с упрямой решимостью принял шпагу из рук девушки. Шпага явно весила немало. Он не сделал попытки взмахнуть ею, со свистом рассечь воздух, но как-то неловко держал ее перед собой — словно за барьер держался.

— Значит,— сказал он отрешенно,— *то, с чем мне придется встретиться, вполне реально.*

— Похоже, что так,— прошептала Айрин.

— Я надеялся, что это просто какое-нибудь колдовство. Тогда было бы легче. Слушай, ты лучше все-таки скажи им, что в школе я фехтованием не занимался.

Он аккуратно усталил кончик шпаги в полированный пол и оперся на ее рукоять, глядя вниз на гарду и лезвие с выражением недоброго уважения. Красиво отделанная рукоять удивительно подходила к его крупной руке; лезвие было очень тонким и длинным. Эфес, где Айрин искала подобие крестовины, как на шпагах, виденных в книгах, представлял собой массивный овал, украшенный цепочкой желтых камней.

Подняв наконец глаза, Айрин заметила, что остальные все еще смотрят на шпагу. Лицо Сарка покраснело и как-то постарело; Горн казался невозмутимым.

— Он говорит, что не владеет искусством фехтования, мой Лорд,— сказала Айрин и испытала странное чувство маленького злорадного удовлетворения, словно заключила союз с Хью против Горна и всех остальных.

— Не знаю, смогло бы помочь ему это искусство или нет,— сказал старик.— Я просто не имел права посылать его туда безоружным.— Голос его звучал печально, и вспыхнувшее было негодование погасло в душе Айрин.

— Мне кажется, это Его шпага, из Столицы,— сказала она Хью.

— Спасибо,— сказал Хью старику на языке вечерней страны; потом обратился к Айрин: — Ну что ж, могут они, по крайней мере, сказать мне, куда идти и что делать?

Она еще не успела до конца перевести его вопрос, а некоторые из мужчин, до сих пор стоявшие молча, разом стали отвечать. «Вверх на Гору»,— сказал один, а другой добавил: «Там, внутри», а старый Гобим сказал: «Это вообще-то сама Гора». Хозяин остановил их всех и сказал: — Нужно подняться на Гору до летнего пастбища. Ирена знает дорогу до Верхнего Перевала.

— Нет! — вмешалась вдруг Аллия, лицо ее казалось безумным и испуганным.— Пустите меня — я пойду с ним!..

— Ты не сможешь,— сказал Сарк.— Ты поползешь на четвереньках, умоляя вернуться назад, еще до того как перейдешь мост.

Он говорил с мстительным удовлетворением и не пытался это скрыть. Аллия, вся в слезах, повернулась к отцу и закрыла лицо руками.

— Скажи, о чем они говорят,— с отчаянием попросил Хью.

— Они хотят, чтобы ты поднялся вверх по склону Горы до самого высокого пастбища. Аллия хочет показать тебе дорогу, но понимает, что не сможет этого сделать. Лорд Горн...

Но в это время Айрин услышала, как старик говорит Сарку: — Ты бы снова послал девочку, да, Сарк? Для тебя ведь существует только такой единственно возможный путь. Но ты больше уже не в силах ни послать ее, ни удержать при себе. А дорога ведет в обе стороны. Куда смотрят лица тех, кто приходит к нам с юга?

— Скажи, пусть не беспокоятся,— сказал Хью.— Я пойду, куда они скажут. Если уж я отправлюсь в путь с этой штукой, чтобы искать неприятностей, то не сомневаюсь, что найду их.

— Это далеко, и туда ведут разные тропы. Я пойду с тобой, я там наверху бывала раньше.

— Хорошо,— сказал он без лишних вопросов.

Айрин обернулась к Горну: — Он пойдет. Я пойду с ним.

Старик склонил голову.

— Когда нам идти?

— Когда хотите.

— Когда ты хочешь отправиться в путь? — спросила она Хью. Она чувствовала, что начинает дрожать; слезы Аллии вызвали и у нее желание расплакаться.

— Чем раньше, тем лучше.

— Ты так думаешь?

— Хочется с этим покончить,— просто сказал он и посмотрел на Аллию, которая прижалась к отцу, спряталась под его рукой и не подняла глаз навстречу Хью.— Завтра,— сказал он, немного помедлив.— Спроси их, согласны ли они.

— Тут распоряжаешься ты.

— Что-нибудь не так?

— Не знаю. Почему они не могут сказать... Это несправедливо! Мне кажется, они просто отсылают тебя, как... я не знаю... как овцу на заклание. Это как...— но она не смогла подобрать нужного слова: *жертвоприношение*.

— Они повязаны по рукам и ногам,— сказал он.— Они не могут сделать то, что должны. Если я это могу, то и сделаю. Это нормально.

— Не думаю, что тебе вообще следует идти.

— Я за этим и пришел,— сказал он и посмотрел на нее ясными глазами.— А между прочим, как ты сама-то? Если ты считаешь, что это скверные игры... Нет никакого смысла обоим оставаться в дураках.

Она заметила, как отблеск пламени в очаге темно-красными бликами пробежал вверх по острию шпаги.

— Я знаю дорогу, тебе понадобится помощник. И вообще, все равно я больше не хочу оставаться здесь. Больше не хочу.

— Я бы мог остаться здесь навсегда,— сказал он чуть слышно, глядя на Аллию, но не в лицо ей, а на ее руку, белешую на фоне голубовато-зеленого платья.

— Весьма вероятно, что и останешься.— Помимо ее воли сострадание смягчило горечь этих слов; и все равно она будто отвечала предательством на предательство; но он так этого и не понял.

Ее просили остаться в замке, но она, извинившись, поспешила уйти. Переводчик Хью не был нужен; у него отношения с ними развивались быстрее, чем у нее, хотя он и не говорил на их языке. И ей этого было не вынести. Сама виновата, что была душой, но теперь уже слишком поздно. Слишком поздно. Она не остереглась мудрого и опасного человека, дала свое обещание бессердечному. Она ошиблась и сама выбрала участь рабыни. И теперь

ей оставалось только глядеть на своего «хозяина», глядеть и не видеть в нем, своем «зеркале», ни доверия, ни честности, ни мужества. Его загадочность таила в себе лишь пустоту, а все его чувства сводились к зависти.

И все же, если смотреть на него суждено Аллии, неужели она не увидит в нем того гордого человека, которого раньше видела Айрин? Ведь именно они предназначены друг для друга — он, темноволосый, яркий, горячий, и она, светлая и холодная. Как мог он не ревновать, когда рядом с Аллией стоял Хью? Сестра и брат, так сказал Лорд Горн, глядя на Аллию и Хью, но, глядя на Аллию и Сарка, он, наверно, сказал бы: любовница и любовник, жена и муж. И это так, как должно было бы быть. Все здесь так, как должно быть, как следует быть; все, кроме нее, которая не принадлежит их народу, не принадлежит никому, не имеет ни собственного дома, ни своего народа.

Она поужинала с Пализо и Софиром и после ужина немного посидела на кухне, освещенной огнем очага, но прежнего покоя больше не было. Ниточка, которой она привязала к ним свою жизнь, оборвалась. Игра окончена. Раньше она воображала себя их дочерью, но это никогда не было правдой, и теперь эти невинные отношения лишь обременяли настоящую привязанность. И, зная, куда она пойдет утром, они, хоть и старались этого не показывать, испытывали перед ней благоговейный трепет. Софир был просто жалок. Пализо держалась лучше, но ханжество уже властвовало над всеми троими, и Айрин вскоре пожелала им спокойной ночи и ушла к себе.

Она задернула занавески, скрыв неизменную чистоту неба, зажгла лампу и стала думать. Но ни одной стоящей мысли в голову не приходило. Она была измучена и легла спать. В постели, прежде чем уснуть, она прислушалась к ветру, постукивавшему ставнями старого дома, и подумала: «Что бы ни случилось, я не вернусь в Тембреабрези. Пора уходить отсюда. Навсегда. Он всего лишь заставил меня пообещать сделать то, что я и так бы непременно

сделала». Мысль эта была вовсе не утешительной, тем не менее она успокоила ее. Отвращение, ощущение того, что тебя предали, рождалось из понимания необходимости расстаться и не делать попытки сохранить то, что когда-то любила. Нечего было хранить, кроме вечной готовности любить. И если чувство утраты прошло — тем лучше.

Интересно, почему ей больше совсем не страшно? Ее теперешняя усталость была как бы памятью, запечатлевшейся в нервах и мускулах, о том безграничном, изнуряющем страхе, который на этот раз она ощутила по дороге сюда. Но теперь она спокойно представляла себе, как выходит на дорогу, поднимается в гору, и под ложечкой не появлялось сосущего ужаса, а сердце и мозг не опутывала паника. Возможно, это значило, что она наконец сделала правильный выбор — сделала то, зачем пришла сюда, как сказал бы Хью, бедный Хью, огромный и беспокойный, с такими честными глазами. Он идет, хотя не хочет идти, хотел бы остаться. Но тогда какой же выбор правилен? Ну, это станет ясно само собой, а пока страха не было, было только желание спать, спать тем сном, который возникает здесь из глубин более бездонных, чем мир сновидений, из запредельных бездн, которые нельзя назвать или увидеть, — это как гора, заключенная внутри другой горы, как море, заключенное в ручье, бегущем по этой земле, где не бывает дождей.

Когда дом проснулся, она поднялась, надела свои джинсы, рубашку и походные башмаки, намереваясь, как и всегда покидая волшебную страну, ничего не брать с собой, не переносить через порог; но потом взяла в сундуке, стоявшем в гостиной, старый грязный плащ, который Пализо давала ей, когда Айрин ходила вниз по Северной дороге с купцами. Плащ был из темно-красной шерсти, весь в пятнах, кромка обтрепалась, но теплый и легкий, его удобно было нести, скатав в небольшой тючок. Софир, которого мучила мысль, что ее путешествие может затянуться, приготовил увесистый пакет с вяленным мясом, сыром, сухаря-

ми, которых явно должно было хватить надолго. Все это она закатала в плащ.

Они с Пализо на мгновение приникли друг к другу. Ни та, ни другая не в силах были вымолвить ни слова. Это был конец, а слова предназначены для начал. Айрин поцеловалась с Софиром и вышла из гостиницы.

Во дворе она увидела Адуван, Вирти и других детей, которые ждали ее, возбужденные, но то ли испуганные, то ли растерянные. Они почти ничего не говорили, только лънули к ней, словно им хотелось поддержать ее, ободрить. По улице, состоящей из ступенек, вниз спускалась группа людей: Горн и Аллия, Сарк и Фимол, несколько старых мужчин и женщин, среди которых шел Хью, высокий, белолицый, — бычок на заклание. Внизу они остановились и ждали, и Айрин, окруженная детьми, подошла к ним.

Люди стояли в дверях домов вдоль всей улицы, ведущей через город к западу. Они тихо приветствовали Лорда Горна, называя его «ваша светлость», а Хью и ее — по именам. *Ирена, Иренаджа...* Некоторые присоединились к ним сразу, отдельные группки поджидали на перекрестках. Она поняла, что это парад в ее честь. Печальные и тихие, жители Тембреабрези собрались, чтобы выразить им свою признательность, пожелать удачи, вручить им ключи от своих надежд.

Какой-то молодой отец поднял сынишку, чтобы тот посмотрел на Хью, проходившего мимо. От этого Айрин вдруг захотелось смеяться, глупо, по-девчоночьи хихикать, она даже зажала себе рот. Огромный Хью в подаренной ему красивой кожаной куртке, с рюкзаком за плечами и со шпагой в кожаных ножнах на боку мог бы выглядеть как герой, если бы только понимал, что он герой; но он выглядел скорее растерянным, ошарашенным, плечи ссутулил и не замечал своей славы, потому что никто никогда не говорил ему, что он имеет на нее право.

Западная улица постепенно превратилась в дорогу, камни тротуаров уступили место утоптанной обочине. Дома ста-

новились как-то меньше, встречались все реже, а потом начались поля, окруженные по межам каменными изгородями сухой кладки, и — к западу и северу от города — потянулись длинные полосы болотистых пастбищ. К процессии присоединилось уже немало людей, так что когда они гуськом шли между изгородями, разделяющими поля, их вместе оказалось человек пятьдесят. Шли легко и тихо. У Айрин подпрыгнуло сердце при мысли: «А может, они пойдут вместе с нами, может, им всего-то и нужно было — начать, выступить в поход, а дальше мы пойдем все вместе, держась друг за друга?» Но родители теперь не отходили от детей. Они взяли их за руки, то и дело наклонялись к ним и что-то шептали. Громко не говорил никто. «Ирена», — прошептала Адуван, с каким-то несчастным видом стоя рядом с матерью и младшим братишкой. Айрин обернулась к ним. Другие дети тоже протягивали к ней руки и шептали: «До свидания!» Вирти отказался поцеловать ее; он плакал взахлеб: «Не хочу видеть это гадкое чудище, не хочу!» Триджьят пошла с детьми назад. Айрин двинулась дальше; один раз она оглянулась: дети стояли на дороге, в сумерках. Позади них в городе не горел ни один огонек.

Люди, женщины и мужчины, останавливались один за другим. Они неподвижно стояли на дороге, глядя, как другие идут дальше. Их овеивал тихий беспокойный ветерок.

Каменная, сухой кладки межевая изгородь высотой до плеча тянулась слева, а справа нависла темная махина Горы, от которой падала густая тень. Айрин с трудом смогла различить белые камни моста, перекинутого над небольшой горной речкой, которая ниже разливалась ручьями и орошала пастбища. Дорога вела на мост. Видимо, это и был предел: мост.

«До свидания, Ирена», — сказала какая-то женщина, проходя мимо. Ветер раздувал ее серую юбку, лицо в неясном свете, висевшем над дорогой, казалось бледным. Это была бабушка Адуван, мать Триджьят. Когда-то она

научила Айрин пряхть. «До свидания»,— сказала ей Айрин. Дорога свернула влево, к мосту. Айрин прошла мимо Хозяина, напряженно застывшего, в отчаянии стиснувшего руки. Сказала: «До свидания, Сарк», впервые — и в последний раз — назвав его по имени. Он ничего не ответил, наверно, не мог говорить. Она еще немного прошла вперед и внезапно остановилась подле Лорда Горна. Рядом светились в сумерках волосы Аллии, словно скопившие в себе свет. Аллия стояла и смотрела на Хью.

— Да пребудет с вами наша надежда, да поможет вам наша вера,— нежным, чистым голоском сказала Аллия на своем родном языке. Хью ответил по-английски, и только Айрин поняла его слова: «Я люблю тебя».

— Прощай! — сказала Аллия, и он повторил это на ее языке.

Рука Лорда Горна, худая и легкая, легла на плечо Айрин. Она изумленно воззрилась на него. Улыбаясь, он поцеловал ее в лоб.

— Иди и не оглядывайся, дочь моя,— сказал он.

Она застыла в полной растерянности.

Хью уже двинулся дальше к мосту. Она должна идти с ним. Она прошла мимо Аллии, молча стоявшей на темной дороге, подобно статуе. Он назвал меня дочерью, стучало в ее сердце, он назвал меня дочерью. Она шла вперед. Они все стояли у нее за спиной на темной дороге и молчали. Она не оглянулась.

Дорога вела через мост и влево, к западу, а потом — вверх по склону Горы. С одной стороны густой лес, с другой — высокая изгородь. На дороге было почти темно.

Хью чуть враскачку шел впереди и правее ее. В полутьме он казался ей просто огромной неопределенной движущейся массой.

Длинная изгородь кончилась, начался лес. Темные ветви сплетались над головой. С обеих сторон дороги лес стоял стеной, под ногами — корни, ветки, листья. Как в туннеле. Изредка между ветвями мелькал кусочек неба. Их окружал

душный лесной запах гниющей листвы. Нечто огромное, бледное возникло вдруг впереди. У Айрин замерло сердце, но разум тут же подсказал: «Это же просто валун, успокойся, это камень, свалившийся с горы». Уже? Да, уже, ведь мы давно вышли из города, уже после моста прошли не меньше двух километров.

— Хью,— позвала она.

Только теперь, хотя она почти прошептала его имя, она услышала эту невероятную тишину. Ветер улегся. Все было недвижимо. словно напала глухота — ни единого звука вокруг.

Хью остановился и обернулся к ней.

— Сюда,— прошептала она, указывая влево. Она не могла заставить себя говорить громче.— Вот эта тропа ведет к верхнему пастбищу.

Он кивнул и последовал за ней, когда она свернула на более узкую и крутую тропку, протоптанную в теле Горы многочисленными копытцами овец и ведущую вверх.

Сердце у нее продолжало бешено колотиться, в ушах стоял звон. Это просто из-за подъема, убеждала она себя, но дело было не в этом. То была тишина. Если бы хоть один звук раздался рядом, хоть что-то еще, кроме собственных шагов, дыхания и слабого «бум-бум-бум» в ушах. Впрочем, слышны были шаги Хью, шедшего сзади, но он тоже не слишком шумел — здесь любой шум казался лишним.

Я не испугаюсь, не испугаюсь. Просто иди, не теряя дороги. Просто сама не теряйся, не будь дурой.

Прошло не меньше двух лет с тех пор, как она в последний раз была на этой тропе. Тогда она приходила сюда вместе с пастухами, детьми, стадами овец. Теперь ей предстояло найти дорогу одной. Ее все время грызли сомнения, правильно ли она идет, но ошибки не было: посмотри на тропу, говорила она себе, это овечья тропа — вон высохший овечий помет, следы овечьих копыт, это и есть правильный путь. Я не испугаюсь.

Тропа уже начала зарастать кустарником, потому что ею давно не пользовались. Идти было не очень трудно, но требовалось внимание, к тому же подъем не прекращался. Внезапно, после очередного рывка, они вынырнули из лесной темноты. Воздух здесь казался почти светлым. Ясно были видны земля и небо. Айрин и Хью вышли на одном из концов Долгого Луга — огромного альпийского пастбища, разместившегося на горной террасе северного склона.

Она стояла под деревом на опушке леса в высокой траве, переводя дыхание после крутого подъема. Хью стоял рядом. Она видела, как поднимается и опадает его грудь. Он рассматривал далекие луга и склоны гор над ними.

— Это то самое место? — спросил он.

Он впервые заговорил с тех пор, как они перешли мост.

— Нет. По-моему, еще примерно столько же. Верхний Перевал вон там, наверху. — Она показала на серые скалы и утесы, нависавшие вдаль над Долгим Лугом, справа от того места, где они стояли. — С овцами туда добирались дня за два, а привал всегда устраивали здесь.

— А я-то все гадаю, зачем они дали мне с собой столько еды.

— Георгий Победоносец, пожирающий бутерброды, — сказала Айрин и разразилась каким-то истерическим смехом, вырвавшимся помимо ее воли и так же быстро угасшим. Она посмотрела на Хью. Тот сбросил рюкзак и кожаную куртку и теперь отстегивал ножны, жалуясь: — Эта чертова шпага жутко мешает.

Он глянул на Айрин и встретился с ней взглядом. — Ерунда все это, выдумки, — сказал он и покраснел. — Спектакль.

— Я знаю.

Но голоса их утонули в тишине, и оба они неловко приоткрылись.

— Ты не чувствуешь... — Он поколебался и спросил с неловкой деликатностью: — Того страха?

— Пожалуй, нет. Я просто нервно чаю, но не... Мне кажется, будто *оно* повернулось к нам спиной.

Наконец Хью к собственному большому удовлетворению удалось отстегнуть шпагу; он провел рукой по волосам и облегченно вздохнул: «Уф!»

— А ты никогда *этого* не чувствовал? — спросила она с любопытством.

— Пожалуй, нет.

— Хорошо.

— В последний раз, когда я переступал порог, мне было как-то странно, неприятно, я даже в панику ударился. А все потому, что боялся заблудиться. Это ведь, наверно, не то, а?

Она помотала головой.— Ничего общего. У меня скорее ощущение, что вот-вот налетишь на такое, чего видеть не хочется.

Он скорчил рожу.

— Это ужасно,— сказала она.— А вот заблудиться здесь я никогда не боялась. Я всегда знаю, где проход. И где Город. И где Столица, наверно.

Он кивнул: — Они все находятся на одной оси. Но тогда, когда я прошел дальше за порог, я эту ось потерял. Все казалось одинаковым. Я даже того родника не узнал, когда через него переходил. Если бы я тогда не встретил тебя...

— Но ты же уже вышел на тропу — почти. Скорее всего, ты просто запаниковал и перестал соображать.

— Когда они сказали, что я должен пойти в горы, а значит, отклониться от оси, я чуть было снова в панику не ударился. Когда ты пообещала пойти со мной, это было... Ты же знаешь. Как путь к спасению.

Он пытался выразить свою благодарность, но она и сама не знала, можно ли ее благодарить.

— А что ты хотел сказать, назвав это спектаклем?

— Не знаю.— Он стоял, глядя вдаль, на противоположный край луга. Перед ним расстиралось огромное пространство, заросшее высокой травой без цветов, серебристо-зеленой в неизменном сумеречном свете, чуть-чуть колеблемой ветерком. Ни единой птички, ни клочка облака в не-

бе.— Наверно, я имел в виду шпагу.

— Ты думаешь, она тебе не понадобится?

— Понадобится? — Он посмотрел на нее с довольно-таки глупым видом.

— А для чего же она? Наверно, предполагалось, что ты с кем-то будешь сражаться?

— Не знаю.

— А что, если сражение и вообще немисливо или бессмысленно? Если здесь, наверху, что-то есть — какое-то существо, нечистая сила или что-то там еще, почему они не сказали нам, что это? Может, с этим и сражаться невозможно?

— Но с чего бы им нас обманывать? — спросил он мрачно.

— Потому что они могут только так. Я не хочу сказать, что Лорд Горн плохой человек. Я не знаю, какой он. О том, что они делают, невозможно сказать «хорошо» или «плохо». По твоим же словам — они делают то, что им необходимо. Хозяин говорил о *заключении сделки, об уплате выкупа*. Он имел в виду... нет, не знаю, что он имел в виду. Я просто не понимаю этого, не понимаю, что мы должны попытаться сделать.

Он снова провел рукой по своим густым, чуть припотевшим волосам.

— Но ты не обязана была подниматься сюда,— сказал он мягко и неуверенно.

— Да нет, обязана! Не знаю. Я была *должна*. Пора было уходить.

— Но почему этим путем? Ты бы просто могла пойти домой.

— Домой! — сказала она.

Он некоторое время помолчал, не отвечая. Потом кивнул: — Наверно, ты права.— И еще минуту спустя прибавил: — Ну, пойдём дальше. Мне все кажется, что скоро стемнеет.

Тропа терялась в высокой сочной спутанной траве. Девушка уверенно шла вперед, ведя его к серым утесам на другом берегу серого травяного моря. Здесь не было ни малейшей необходимости идти в затылок друг другу, как на узеньких лесных тропинках. Хью от нее не отставал, но шел на некотором расстоянии, потому что она недвусмысленно дала понять, что терпеть не может, когда вокруг нее *толпятся* или даже просто подходят слишком близко. Плотные гибкие стебли трав обвивали ноги, и он приспособился шагать, как по снегу, решительно поднимая и опуская ноги. Шпага колотила его по боку, но все же приятно было идти ровным шагом по ровной земле, а не карабкаться вверх или сползать вниз. И еще было приятно — наверно, это не так уж часто встречалось в лесной стране — видеть перед собой цель, видеть, как утесы, к которым они шли, постепенно поднимались все выше и выше.

После долгого молчания он сказал: — А теперь мне все кажется, что утро.

Девушка кивнула: — Я думаю, это потому, что здесь выше и светлее. Нет деревьев.

— И на восток пространство открыто,— добавил он.

Они упорно шли. Молчали. На этом громадном лугу, заросшем травами, как бы само собой разумелось, что шуметь нельзя,— только шуршала трава под ногами да иногда легко вздыхал ветер. Умиrotворенное восхищение охватило тело и душу Хью, в ушах будто звучала радостная песнь, совпадающая с ритмом ходьбы. Он делал то, ради чего пришел сюда, шел туда, куда должен был пойти. Он заработал право быть здесь и любить Аллию.

Это неважно, что она не знает языка, на котором он сказал тогда «Я люблю тебя». Неважно, встретятся они когда-нибудь еще или нет. Важна была только его любовь, на ее крыльях летел он вперед, не ведая горя и страха.

Мог ли он бояться? Смерть — сестра любви, та из ее сестер, лицо которой скрыто под вуалью.

Они медленно, но неуклонно продвигались вперед, и утесы, как башни, вздымались над ними все круче и выше, и все явственней были видны складки, шрамы и залысины на их склонах, и дикие травы склонялись и трепетали в такт шагам, а глубины небес простирались над головой словно водная гладь, и он снова ощутил, что был бы счастлив идти вот так, по этому высокогорному лугу, вечно. Теперь он совершенно не чувствовал усталости. Он, наверно, больше никогда ее не почувствует. Он без конца может вот так идти вперед, ко всему повернувшись спиной.

Девушка звала его по имени. Она произнесла его имя не один раз. Он не хотел останавливаться. Не из-за чего было останавливаться. Но голос ее звучал тонко, резко, как голос морской птицы, и он остановился и оглянулся.

Теперь они подошли совсем близко к утесам, утесы нависали прямо над головой, а дорога повернула на север и была покрыта короткой травой, растущей между скатившимися с горы валунами и обломками скал, полускрытыми кустарником. Девушка довольно-таки сильно отстала, она была еще за внешней складкой подножия Горы, и когда он вернулся к ней, то увидел, что там и начиналась тропа. Тропа выглядела мрачной и узкой.

— Это путь к Верхнему Перевалу,— сказала она.

Он посмотрел на тропу с отвращением.

— Надо немного отдохнуть, прежде чем начнем подъем. Тут круто,— сказала она. И села на траву, сухую, короткую, желтоватую, будто кем-то вытопанную.— Ты голоден?

— Не очень.

Ему не хотелось беспокоиться о еде, хотя, когда он мысленно прикинул, сколько они прошли, получилось очень много, и шли они долго, и та темная дорога, на которой стояла Аллия, осталась далеко-далеко позади, где-то там, внизу. Он хотел идти вперед. Но девушка правильно сде-

лала, что остановилась,— выглядела она усталой, лицо загнанное, измученное. Он бросил свою куртку, перевязь и шпагу на землю возле нее и отошел за ближайшее нагромождение валунов; вернулся, с удовольствием ощущая во всем теле тепло и животворные силы; он не устал, но теперь был рад немного передохнуть; девушка сидела на траве и ела; он взобрался на красноватый валун неподалеку; она передала ему ломоть вяленого мяса и несколько кусочков каких-то сушеных фруктов; все было очень вкусно.

Слышен был только один-единственный звук: шелест ветра в сухой траве между разбросанных камней — тоненькое холодное посвистывание где-то совсем близко к земле.

Она завернула еду и уложила ее в свой тючок.

— Полегчало? — спросил он.

— Да,— сказала она и вздохнула. Он увидел, что ее круглое бледное лицо повернуто к темной тропе.

— Слушай,— сказал он. Ему хотелось назвать ее по имени.— Тебе необязательно идти дальше.

Она пожала плечами. Встала, затягивая свой тючок из куска какой-то красной шерстяной ткани.

— К тому месту, куда мне надо добраться, ведет именно эта тропа?

Она кивнула.

— Ладно. Ничего страшного.

Она стояла, тупо глядя на него, потом посмотрела внимательнее и улыбнулась.

— Ты заблудишься,— сказала она.— Ты вечно сбиваешься с пути. Тебе нужен лоцман.

— Я не могу сбиться с тропы в полметра шириной...

— Но сбился же, когда мы шли сюда; прямо в противоположную сторону и направился.— Улыбка ее стала шире и превратилась в смех, правда, очень короткий.— Как только мне становится страшно, ты сразу сбиваешься с пути. Похоже, так оно и будет.

— А тебе сейчас страшно?

— Немножко,— сказала она.— Опять то же самое начинается.

Но смех еще не совсем ушел из ее голоса.

— Тогда тебе не следует идти дальше. Это необязательно. Я же должен в конце концов за что-то отвечать. Ведь ты и пошла-то только ради меня.

Но она уже двинулась по тропе вверх. Он сразу же последовал за ней, на ходу вскидывая за плечи свой рюкзак. Они вошли в расселину — грубый вертикальный шрам в теле Горы. Высокие сухие стены из красного и черно-коричневого камня почти смыкались над ними. Тропа была каменной и круто взбиралась вверх.

— Ты за меня не отвечаешь,— бросила она через плечо.

— Тогда и ты не отвечаешь за то, чтобы я не заблудился.

— Но нам нужно попасть туда,— сказала она.

Они продолжали упорно карабкаться вверх. Тропа круто извивалась, скалы почти смыкались друг с другом. Хью взглянул на руку девушки, которой та оперлась о каменный валун. Рука была маленькая, тонкая и смуглая, лунки ногтей очень белые.

— Слушай,— сказал он,— я хочу... Я никогда не мог понять, как тебя... как твое имя.

Она оглянулась, посмотрела на него.— Ирена,— сказала она ясным голосом и повторила имя по буквам.

Он тоже повторил, и по лицу ее скользнула широкая, добрая, потаенная улыбка, и она посмотрела на него сверху вниз, едва удерживая равновесие среди обломков скал и жестких комьев земли. Потом снова пошла вперед легкой походкой.

Здесь эта шпага превратилась в постоянное мучение, тяжелые кожаные ножны мешали ему идти, лупили по бедру, а рукоять шпаги, как костыль, врезалась под мышку. В конце концов удалось прикрепить шпагу под нужным углом, но, провозившись с этим, он сильно отстал. А когда двинулся дальше, вдруг услышал звук бегущей воды. Он

обогнул очередной выступ и увидел маленький ручеек, прозрачной струей падавший вниз, в небольшой водоем с зелеными водорослями и колючей травой по берегам. Ирена стояла у воды на коленях, поджидая его; лицо и руки у нее были мокрые. Он тоже опустился на колени и напился — руки при этом провалились в болотную прибрежную зелень. В воде чувствовался привкус железа и меди — она была похожа на кровь, только очень холодную.

Тропа по-прежнему узкой извилистой лентой ползла круто вверх. В окаменевшей пыли под ногами были видны, как в засохшем иле, следы копыт — последнего стада овец, когда-то спускавшегося здесь вниз, в долину. Полоска неба над головой была очень далекой. На тропу попадало совсем мало света, разве что в расселинах, где она становилась чуть шире. Когда же стены вокруг начинали опять сдвигаться, Хью казалось, что тропа ведет внутрь, внутрь этой Горы. Его кеды скользили на камнях; идти было трудно. Он завидовал девушке, которая легко, словно тень, поднималась впереди него по извилистому пути.

Она стояла у длинной прямой трещины в стене. Он догнал ее и спросил шепотом, опасаясь нарушить глубокую тишину: — Ну как ты?

— Просто задохнулась.— Как и он, она тяжело дышала.

— И долго нам еще вот так?

Скалы, нависавшие над тропой, были очень странной формы — похожие на картошку, словно когда-то давно их обкатали морские волны. Они напоминали незаконченные скульптуры зверей, болезненные опухоли, гигантские внутренности.

— Не знаю. С овцами нужно было идти целый день.

Глаза ее в этих сумерках под сенью скал выглядели темными и испуганными.

— Иди помедленней,— сказал он.— Некуда спешить.

— Я хочу выбраться отсюда.

Извиваясь, прорывая нору в теле Горы, тропа безжалостно шла вверх. Они еще дважды останавливались,

чтобы перевести дыхание. Последний отрезок был таким крутым, что они практически ползли на четвереньках, подавая друг другу руки. Когда же внезапно тропа выровнялась и стены вокруг исчезли, Хью так и остался стоять на четвереньках. Он выпрямился было, но, ощутив головокружение, снова рухнул на колени. Горная тропа выходила на край очередного альпийского луга — ровного зеленого поля. Примерно на километр ниже виднелся тот огромный луг, с которого они поднимались, — прикрытый горным туманом, зеленый, как болото. Хью не представлял себе, как точно определить высоту и расстояние, но они явно поднялись очень высоко, потому что склон огромной Горы доминировал теперь надо всем вокруг — над тем лугом и над этим — и воспринимался как нечто основное в этой части земли, такое же абсолютное, как горизонт, который отступил теперь так далеко и высоко, что практически растворялся в сумеречном воздухе. Над Горой к северу и востоку неколебимым куполом поднималось спокойное небо.

Ирена сидела на самом краю обрыва, пожалуй, слишком близко к пропасти. Она смотрела на север, куда-то за пределы лежащих внизу земель. Хью посмотрел на восток: сначала скользя глазами по склону Горы и думая, можно ли отсюда увидеть огни Города, а когда глянул вниз, у него снова закружилась голова. Он стал смотреть вдаль: над безбрежным воздушным океаном на востоке поднимались горы. За их неясными очертаниями, словно нарисованными серым карандашом на серой бумаге, вроде бы виднелось что-то цветное, какие-то яркие вспышки. Или нет? Он долго вглядывался, но так и не смог с уверенностью сказать, что ему это не почудилось. Когда же он посмотрел туда, куда и Ирена, на север, то не увидел ни огней Города, ни даже слабого свечения — знака того, что где-то там Столица. Все было одинаково серо-голубым, неясным, безмолвным, бескрайним.

Наконец она встала на ноги и осторожно отошла от края обрыва.

— Это и есть Верхний Перевал,— сказала она почти шепотом.— Ноги у меня после этого чертова подъема как ватные.

У него снова закружилась голова, когда он увидел, как она стоит на самом краю этой бездны. Он поднялся и посмотрел в сторону луга. За морем травы — на этой высоте короткой и сочной, напоминающей садовый газон,— на том краю луга, где отвесно поднималась вверх стена горного склона, одиноко лежала какая-то каменная глыба, словно остров в море зелени. Он пошел туда. Оказалось, что это нагромождение довольно крупных, поросших лишайником серых валунов, скатившихся с Горы, расколовшихся и каких-то нестрашных, не таких огромных и тяжелых, как всё в этих горах. Было даже приятно почувствовать спиной обыкновенный небольшой валун. Они оба уселись, прислонившись к самому крупному камню, высотой метров пять — семь.

— Долгая была дорожка,— сказал он. Она только кивнула. Он достал из рюкзака еду, и они молча перекусили. Потом она снова откинула голову назад, прислонилась к скале и закрыла глаза. Ее маленький, четкий, как на бронзовой монетке, профиль вырисовывался на фоне неба.

— Ирена!

— Что?

— Если хочешь поспать, я могу подежурить.

— Хорошо,— только и сказала она и тут же свернулась клубком у скалы, подложив свой сверток из красной шерсти под голову вместо подушки.

Он съел еще один сухой хлебец — жесткий, крупитчатый, приятный на вкус — и кусочек сыра из козьего молока, который ему вообще-то не нравился, но сейчас он был достаточно голоден, чтобы съесть что угодно; немного поколебавшись, он съел еще один хлебец с лом-

тиком копченой баранины, а потом убрал остальную еду в рюкзак. Он бы съел и еще, но решил, что пока достаточно. Теперь уже было гораздо лучше. Долгий, длинный путь отделял их от того момента, когда они покинули Город, и он устал, но измученным себя не чувствовал. Вот только если так и сидеть, удобно прислонившись к скале, то непременно заснешь — всё здесь спит. А ему следует *стоять на часах*. Он поднялся и стал лениво «патрулировать территорию» — ходить взад-вперед по каменистому острову.

В ясных сумерках, в прозрачном высокогорном воздухе, насквозь пропитанном странным светом, не имеющим источника, цвет травы поражал своей насыщенностью: темно-зеленый, чистый, как изумруд. Лес, точно створки раковины, смыкался над лугом с обеих сторон — далекий на севере, близкий на юге — и выглядел колючим и темным. Над ближними утесами, как над второй ступенью этой гигантской горной лестницы, свисали космы такого же колючего, темного леса, карабкавшегося все выше и дальше, а в самой вышине — голые склоны, неприступные вершины. В этом мире воздуха, камня и леса не было иных цветов, кроме темно-зеленого — цвета драгоценного камня. В траве альпийского луга ни единого цветка. Ни один цветок не раскроется, пока на небе не появится хоть одна звезда. Хью это было совершенно ясно. Потом он решил, что мозги у него слегка затуманились, и, чтобы проснуться, сменил маршрут «патрулирования» — пошел вокруг нагромождения камней, стараясь не оставлять спящую девушку вне поля зрения.

У северной стороны, ближе к скалам в траве было какое-то странное лысое место. Он уже второй раз подошел к этой проплешине, двигаясь по дуге, и теперь решил рассмотреть это место и понять, почему вылезла трава. Но оказалось, что это вовсе не проплешина, а плоский камень, похожий по форме на щит, поверх-

ность гигантского корня Горы, выступившего из-под земли, как жила из-под кожи. Чуть возвышающаяся над землей поверхность скалы была в нескольких местах разрушена; он подошел поближе и пригляделся. В камень были вделаны четыре железных кольца — как бы по углам четырехугольника метра три длиной. Сам камень и лишайники возле колец были покрыты пятнами странной ржавчины. Он встал на плоскую скалу и подергал за одно из колец, но оно держалось прочно. Оно было обвязано ремнем сыромятной кожи, но кожа расползлась и так проросла ржавчиной, что узел казался чем-то вроде болезненной опухоли. Кольца выглядели страшно — толстые, ржавые, намертво приделанные к глыбе, лежащей между скалой и пропастью, да и само место было на редкость мрачное. Девушка все еще спала там, под боком у валуна, на совершенно открытом лугу, беззащитная. Это было недопустимо. Ему ни в коем случае нельзя было уходить от нее. Что-то в этом месте было не так. Он уже повернулся было спиной к плоской скале, но тут в лесу раздался крик.

То ли крик, то ли еще какой-то далекий, шипящий, рыдающий звук, вряд ли громче стука его собственного сердца, которое вдруг тяжело забилося.

Он побежал. Чувство оси, проходившей по воздуху где-то за краем пропасти, всплыло в памяти. Девушка спала; он потряс ее, говоря:

— Проснись, проснись.

— В чем дело? — пробормотала она, смущенно зевая, но вдруг глаза ее расширились от ужаса: она услышала тот голос, уже звучащий значительно громче, значительно ближе, завывающий и рыдающий в лесу, на северной стороне луга.

— Скорей! — сказал он, ставя ее на ноги. Она схватила свой тючок и поспешила за ним, молча и задыхаясь от страха. Он не выпускал ее руки из своей, потому что вначале она едва была способна двигаться, словно осла-

бев то ли ото сна, то ли от страха. Некоторое время он просто волок ее за собой, потом внезапно, странно дернувшись, она высвободилась, вырвала руку и побежала. Они бежали к лесу, к его ближайшему краю, убегали от этого голоса. Ни один из них не обдумывал своих действий. Они просто бежали. Голос позади стал еще громче — рыдающий вой, болезненно и страшно отдающийся в ушах. Они добежали до леса, который хотя и укрыл их, но предложил целый лабиринт из бесчисленных темных тропинок, где они, конечно, заблудились бы. «Стой!» — попытался Хью крикнуть девушке, но легкие были словно обожжены воздухом, и крика не получилось, и она не смогла услышать, потому что весь мир вокруг был заполнен одним этим чудовищным, опустошающим душу воем. Она споткнулась, перелетела через ствол дерева, поднялась и бросилась к Хью, как слепая цепляясь за него руками; рот ее был открыт и имел какую-то странную четырехугольную форму. Она столкнула его с тропы, по которой они бежали. Вместе с ней он покатился вниз по склону между деревьями и кустами, по листьям, по веткам, царапавшим лицо и коловшим глаза. Спуск становился круче, не за что было уцепиться, и они прокатились вниз метров пятнадцать по крайней мере, пока их не задержал ствол упавшего дерева, полусгнивший и огромный, за которым, совсем лишившись способности дышать, полупарализованные от страха, они и спрятались. Голос вышибал из мозгов последний разум, он стал еще громче — ужасный, опустошающий, громадный, разрушительный. Хью посмотрел вверх и увидел существо, от которого исходил этот вопль, оно стояло над ними на тропе, кусты тряслись и ломались от его движений; оно прошло мимо и было белым, покрытым морщинами, примерно раза в два больше человека, свое массивное тело несло с трудом, но двигалось в то же время очень быстро; круглый рот существа был открыт, и в его вопле слышались шипение,

и голодный вой, и неутолимая боль; и существо это было слепым.

Потом оно ушло. Ушло и унесло с собой свой леденящий душу крик.

Хью лежал, упершись плечами в ствол дерева, тщетно пытаясь вздохнуть, набрать в легкие воздуха. Мир вокруг стал каким-то белесым, расплывчатым. Когда же мир снова начал обретать прежние очертания, когда уменьшилась боль в груди, Хью ощутил что-то теплое и тяжелое, прижавшееся к нему, к его левому боку и плечу.

— Ирена,— сказал он беззвучно, назвав этим именем то теплое, что прижалось к нему, самого себя возвращая к реальности этим именем, ощущением ее присутствия. Девушка возле него скрючилась, свернулась вдвое, спрятав лицо.— Все в порядке,— сказал он.

— Оно ушло,— сказала она.— Ушло.

— Ушло?

— Оно пошло дальше.

— Не плачь.

Она уже сидела, но ее тепло все еще было с ним, и он, тоже в слезах, потерял лицом о ее плечо.

— Все хорошо, Хью. Теперь все хорошо.

Прошло некоторое время, прежде чем его дыхание снова выровнялось. Он поднял голову и сел. Ирена немного отодвинулась от него и попыталась выбрать из густых волос листья и мусор, потом вытерла свое заплаканное лицо.

— Ну а теперь что? — спросила она жалким охрипшим голосом.

— Не знаю. У тебя все в порядке?

Ни один из них особенно не пострадал, скатившись кубарем по склону горы, хотя царапины, оставленные ветками на лице Ирены, напоминали сделанные красным карандашом метки. Но Хью чувствовал себя совершенно разбитым, измученным, таким же смертельно измучен-

ным, как тогда, когда он сбился с пути у порога, да и Ирена, похоже, чувствовала себя не лучше, сидела с полужакрытыми глазами, низко склонив голову.

— Теперь я ни шагу дальше сделать не смогу,— сказала она.

— Я тоже. Но мы должны куда-нибудь спрятаться.— Даже говорить у него не было сил.

Они на четвереньках проползли еще несколько метров по склону вниз. Склон становился все круче. В одном месте заросли рододендронов, зарывшись корнями в землю, образовали нечто вроде ниши или пещеры. Под старыми кустами лежал толстый слой палой листвы с несильным, но терпким запахом. Ирена скользнула в эту нишу и, скорчившись, стала развязывать свой шерстяной тючок, который все время прижимала к себе левой рукой. Хью прополз чуть дальше, до тех пор, пока не смог вытянуться во весь рост. Он хотел было расстегнуть перевязь и снять шпагу, но слишком устал и не смог приподняться. Только уронил голову на руку.

Она сидела под внешними ветвями зарослей рододендрона, вытянув скрещенные ноги. Заслышав его шаги, оглянулась. Он опустился на землю с ней рядом и передернул плечами, стряхивая оцепенение. Он спал так крепко, что тело все еще хранило сонную расслабленность и трудно было сжать пальцы в кулак. Царапины на лице Ирены теперь казались черными, словно прорисованными чернилами, но само лицо больше не напоминало череп, оскаленный в ужасной ухмылке, и было круглым, нежным и печальным.

— Ну ты как? В порядке?

Она кивнула.

— По-моему, там внизу есть ручей,— сказала она, чуть помедлив.

Он тоже очень хотел пить. О той сухой еде, что была у них с собой, и думать не хотелось. Прежде необходи-

мо было напиться. Но ни тот, ни другой не двинулся с места, не встал, чтобы отправиться на поиски воды. Эти заросли, это гнездо в зарослях рододендрона, старых и темных, казалось им убежищем, хорошо защищенным и безопасным. Здесь они укрылись от страха. И уйти отсюда было трудно.

— Я не знаю, что делать,— сказал Хью.

Оба говорили тихо, не шепотом, но еле слышно. Лес на склоне горы был тих, но не замер — в ветвях шуршал слабый ветерок.

— Я понимаю,— сказала она, подтверждая, что и сама не знает, как быть.

Помолчав, он сказал: — Хочешь вернуться назад?

— Назад?

— В Город.

— Нет.

— И я нет. Но я не могу... Что еще здесь можно сделать?

Она ничего не ответила.

— Я же должен отнести им обратно эту проклятую шпагу. И сказать им.

— Сказать им что?

— Сказать, что я не могу это сделать.— Он потер лицо руками, чувствуя густую колючую щетину на подбородке и верхней губе.— Что когда я *это увидел*, то упал и заплакал,— сказал он.

— Да ладно,— сказала она, заикаясь от ярости.— Что ты мог сделать? Никто ничего тут не может. Чего они, собственно, ожидали?

— Мужества.

— Но это же глупо! Ведь ты ЕГО видел!

— Да,— он посмотрел на нее. Он хотел спросить, что видела она, потому что не мог ни забыть этого, ни поверить собственным глазам. Но не мог заставить себя прямо заговорить об этом.

— Было бы глупо пытаться встретиться с НИМ лицом

к лицу,— сказала она.— Никакое это не мужество, просто глупость.— Она говорила тоненьким голосом.— Мне даже думать о НЕМ тошно.

Помолчав, с трудом выталкивая из горла слова, он сказал: — А у НЕГО... глаза у НЕГО были?

— Глаза? — удивилась она.— Я не видела.

— Если ОНО слепое... ОНО вело себя как слепое. ОНО бежало как слепое.

— Возможно.

— Тогда еще можно попытаться... Если ОНО слепое.

— Попытаться! — насмешливо сказала она.

— Если бы не этот его проклятый крик!..— с отчаянием сказал он.

— В этом-то и весь страх,— сказала она.— Я хочу сказать, что именно поэтому страх и чувствуешь — когда этот голос слышишь. Я один раз слышала его раньше, когда спала. Кажется, будто у тебя вот-вот мозги лопнут, кажется... Я не могу, Хью. Я ничем не могу тебе помочь. Если ОНО еще раз придет, я снова просто убегу. А может, и убежать-то не смогу.

«Может, и убежать-то не смогу». Эти слова засели в нем как заноза. Он вспоминал плоский камень в траве. Железные кольца, вделанные в него. Узлы сыромятных ремней, продетых в эти кольца. У Хью перехватило дыхание, пересохший рот наполнился холодной слюной.

— Что они велели сделать? — сказал он.— Они много чего сказали, чего ты не перевела. Они дали мне шпагу, они послали нас в горы, сюда, на этот луг...

— Лорд Горн ничего не говорил. Сарк велел дойти до плоского камня. Я полагаю, он имел в виду те скалы, у которых мы сидели.

— Нет,— сказал Хью, но объяснять ничего не стал.

— Мне кажется, они просто знали, что если мы доберемся сюда, то... тогда ОНО придет само...— Она помолчала, а потом очень тихо сказала: — Приманка.

Он не ответил.

— Я их любила,— сказала она.— Очень долго. Я думала...

— Они сделали то, что должны были сделать. А мы — мы не случайно пришли сюда.

— Мы пришли сюда в поисках спасения.

— Да, но мы пришли сюда. Мы сюда попали.

Теперь не ответила она.

Помолчав, он сказал: — У меня такое чувство, будто мне следует быть здесь. Даже сейчас. Но ты-то уже сделала, что обещала. А теперь тебе надо уходить, возвращаться вниз, к проходу.

— Одной?

— Я бы все равно не смог тебя защитить, даже если бы пошел с тобой.

— Это не самое главное!

— Но здесь тебе оставаться просто опасно. Мне ты не нужна теперь. Если бы я был один, то смог бы... смог бы действовать более свободно.

— Я уже сказала, что ты за меня не отвечаешь.

— Не могу не отвечать. Двое людей, если они вместе, всегда хоть немного да отвечают друг за друга.

Она сидела молча, обхватив колени руками. А когда снова заговорила, в голосе ее уже не слышалось прежней настойчивости: — Хью, а что именно ты сможешь сделать лучше в одиночку? Погибнуть?

— Не знаю,— сказал он.

Тогда она сказала: — Нам бы надо чего-нибудь поесть,— и полезла под кусты рододендронов за своим тючком. Разложила пакеты с едой и сидела, глядя на них.

— Мой рюкзак остался там, у тех скал,— сказал он.

— Я не хочу туда возвращаться!

— Нет. И так достаточно.

— Что ж, этого нам вполне хватит дня на два. Если растянуть.

— Хватит.

Это не имело значения. Ничто не имело значения. Он был побежден. Он убежал, спрятался, он спасен и в безо-

пасности и всегда будет в безопасности, но не на свободе.

— Пойдем,— сказал он.— Я не хочу есть.

— Куда пойдем?

— Вниз, к проходу. И выберемся отсюда.

Он встал на ноги. Она посмотрела на него снизу вверх. Лицо у нее было несчастное, нерешительное. Он снова укрепил перевязь, надел кожаную куртку. Мышцы болели, он чувствовал себя нездоровым и неуклюжим.

— Пошли,— повторил он.

Она скатала свой красный плащ, туго стянула его ремнем, не упаковав только маленький кусочек вяленой баранины, который зажала в зубах. Он двинулся вперед, вверх по крутому, густо заросшему лесом склону, по которому они тогда скатились, и наконец вышел на тропу, ведущую от Верхнего Перевала в лес. На тропе он свернул влево.

Громко шурша опавшими листьями и ломая сухие ветки ногами, Ирена догнала его и спросила: — Куда ты идешь?

— К проходу.— Он уверенно показал налево.— Он там.

— Да, но эта тропа...

Он понял, что она имеет в виду, о чем не хочет говорить вслух: это была тропа, протоптанная белой тварью с ужасным голосом.

— Она ведет туда, куда надо. А когда тропа кончится, мы просто пойдем сами в нужном направлении до тех пор, пока не пересечем ту дорогу, что совпадает с осью,— Южную.

Она не спорила. И беспокоиться перестала, хотя все еще выглядела испуганной: не имело значения, как они пойдут и куда. Он двинулся вперед, она последовала за ним.

Тропа была довольно узкой, но отчетливой, и ее не пересекали другие тропки, которые могли бы сбить с толку. Оленьих следов видно не было. Тропа полого спускалась к югу, то и дело огибая выпуклости и провалы, похожие на мелкие мышцы в теле Горы. Деревья здесь росли тесно, тонкостволовые, высокие. Часто попадались нагромождения скал и выходы наверх светлой гранитной породы; изредка

над тропой вздымался голым каменным лбом склон Горы — чистый камень, лишенный всякой растительности. В тех местах, где земля под деревьями была помягче, опавшую еловую хвою кто-то отгреб в сторону и собрал в кучи. Заметив это, Хью вспомнил о неуклюжих, толстых, бледных, морщинистых ногах или лапах, с трудом несших тяжелое туловище. Оно бежало на задних лапах, как человек. Но было гораздо крупнее человека и бежало тяжело, но очень быстро. С трудом несло собственный вес и кричало, будто от боли. Хью был не в силах отогнать от себя этот образ, лишь однажды перед ним возникший. Он подумал, что возле тропы в воздухе разлит какой-то запах, смутно знакомый, нет, очень знакомый, знакомый очень хорошо, и все же назвать его он не мог. Есть такие цветы, летом они бывают на каком-то кустарнике и пахнут так же противно — отчасти похоже на запах спермы. Он все шел и шел вперед и больше ни о чем не мог думать, кроме увиденной на мгновение белой твари, пробежавшей тогда над ними по этой самой тропе.

Путь пересек маленький ручеек, родившийся от более крупных высоко в горах. Он остановился, чтобы напиться: его постоянно мучила жажда. Девушка тоже подошла и склонилась к воде рядом с ним. Он давно уже забыл, что она здесь, позади него, идет за ним следом. Блеск воды в ручье и лицо девушки заслонили воспоминание о белой твари. Напившись, Ирена вымыла лицо, смыв с него грязь, пот и кровь, плеская водой, вымыла руки до плеч и шею. Он последовал ее примеру, и прикосновение воды немного его ободрило, хотя мысли по-прежнему ворочались еле-еле и все вокруг казалось равнодушным и непонятым, все как-то утратило смысл.

Она что-то говорила.

— Не знаю, — ответил он наобум.

На мгновение он увидел ее глаза, темные и блестящие, в однообразном сумеречном свете лесной чащи.

— Если мы все еще находимся на восточной стороне

Горы, то юг там,— сказала она, показывая пальцем. Он кивнул.— И проход тоже там. Но эта тропа все время петляет. У меня уже голова кругом. Если мы намерены где-то сойти с тропы, то лучше сделать это сейчас, пока я еще не совсем утратила ощущение... пока я представляю себе, где проход.

Она снова посмотрела на него.

— Лучше остаться на тропе,— сказал он.

— Ты уверен в этом? — спросила она с облегчением.

Он кивнул и встал. Перейдя через ручеек, они двинулись дальше. Под близко стоящими темными деревьями сгушалась мгла. Не существовало ни расстояний, ни выбора, ни понятия о времени. Они шли вперед. Теперь тропа спускалась вниз весьма ощутимо. Она все больше уводила их вправо, к западу, огибая огромное тело Горы. «Чем дальше на запад, тем будет становиться темнее»,— подумал Хью.

Ирена потянула его за руку; она хотела, чтобы он остановился. Он остановился. Она хотела, чтобы он сел и поел. Он сел. Есть ему не хотелось и не хотелось задерживаться здесь надолго, но немножко отдохнуть оказалось приятно. Потом он встал, и они снова двинулись в путь. Отвесно падавшие вниз ручьи то тут, то там пересекали теперь тропу, журча в темных складках расщелин, и возле каждого из них Хью опускался на колени и пил, потому что жажда продолжала мучить его, а кроме того, вода эта — пусть хоть на минуту! — подбадривала. Тогда он смотрел вверх и видел между темными переплетенными ветвями небо, а рядом с собой — тихое, нежное и одновременно суровое лицо девушки, опустившейся на колени у кромки воды; тогда он слышал вздохи ветра над головой и еще где-то внизу, на склоне Горы. Ощущать это было ему совершенно необходимо, как и чувствовать руками мелкие колючие растения на берегу очередного ручья. А потом становилось легче, он вставал и продолжал идти вперед.

Наконец они добрались до места, где было не так темно и росли деревья со светлыми стволами и круглыми листьями.

Здесь тропа разветвлялась. Одна дорожка вела влево и вниз, вторая — прямо.

— Вот эта, возможно, ведет на Южную дорогу,— сказала Ирена, и он понял, что «вот эта» значит: левая.

— Нам следует остаться на тропе.

— Она все не кончается. Похоже, что теперь уже мы идем точно на запад. Наверно, тропа просто огибает Гору кругом и возвращается к Верхнему Перевалу. Так можно идти до бесконечности...

— Ну и хорошо,— сказал он.

— Я устала, Хью.

Минуты или часы прошли с тех пор, как они прошлый раз останавливались? Он хотел идти дальше, но все же сел и стал ждать там, на развилке под бледноствольными деревьями, пока она поест. Потом снова пошли. Добравшись до ручья, напились и двинулись дальше.

Теперь тропа вела вверх. Здесь были только такие направления: вправо — влево, вверх — вниз. Ощущение оси было давным-давно потеряно, оно теперь и не имело значения. Прохода не было. Тропа пошла вверх очень круто, извиваясь по ущелью, рассекшему тело Горы, все время вверх и вверх.

— Хью!

Ненавистное ему имя прозвучало откуда-то издалека в полной тишине. Ветер улегся. Нигде ни звука. «Спокойно,— подумал он тупо, однако почувствовав трепет волнения,— ты теперь должен быть спокоен». Нехотя он перестал шагать и обернулся. Сперва он вообще не мог разглядеть девушку. Она осталась далеко позади, гораздо ниже, еле видная в неясном свете среди тесно стоящих деревьев; ее лицо казалось бледным пятном. Если бы он еще немного прошел вперед, они наверняка потеряли бы друг друга из виду. Может, и к лучшему. Но он стоял и ждал. Она догоняла очень медленно, подъем давался ей с трудом, она его «преодолевала», как говорят в книжках. Тяжко было идти по этой дороге. Она явно устала. Он же усталости не

чувствовал, разве что когда, как сейчас, приходилось останавливаться и стоять. Если бы он мог, не задерживаясь, идти и идти дальше, то шел бы без конца.

— Нельзя же без конца идти и идти вперед,— задыхаясь, прошептала она сердито, когда добралась до того места, где он поджидал ее.

Ему стоило немалых усилий проговорить: — Теперь уже недалеко.

— Недалеко?

Помолчи, хотелось ему сказать. Он даже прошептал: «Помолчи». И повернулся, чтобы идти дальше.

— Хью, подожди!

Ужас плеснулся в этом ее почти беззвучном крике. Он снова посмотрел на нее, но не знал, чем ее успокоить.

— Ну хорошо,— сказал он.— Ты немного подожди здесь.

— Нет,— сказала она, пристально глядя на него.— Нет, я не останусь, если ты уйдешь.

Она рванулась вперед и прошла мимо него по узенькой тропинке какой-то дергающейся, неестественной походкой. Он последовал за ней. Тропа повернула, пошла вверх, снова повернула под темными елями, под нависшими скалами. За последним поворотом перед ними неожиданно открылись безбрежные дали, громады подернутых дымкой лесов, спускающихся по склонам вниз,— вся вечерняя страна лежала внизу, у их ног, и небо над ней темнело вдали, на западе. Они не стали задерживаться, а вновь вошли под сень деревьев, в мир листьев и ветвей, в мир Горы, под нависающие скалы. Справа прямо над головой громоздились дикие утесы. Деревья между скалами росли редкие и тщедушные. Под ногами — сплошной камень, тропа шла почти ровно.

Тяжелая, нервная поступь Ирены стала совсем неуверенной. Девушка остановилась. Сделала несколько шагов и снова остановилась. Когда он подошел и встал рядом, она прошептала: — Там.

Перед ними стеной стоял утес, который тропа огибала

и, сужаясь, уходила вдаль. Хью сделал еще несколько шагов и за углом утеса увидел другую его сторону — вогнутую, осыпавшуюся, занавешенную кустарником, наполовину лишенным листьев. Там был вход в пещеру. Да, это было, конечно, здесь, это было *то самое место*. Он просто стоял и смотрел — без страха, без каких-либо иных эмоций. Наконец он дошел. Снова дошел до цели. Он шел сюда всю жизнь, никогда не забывая и не оставляя задуманного.

Оставалось лишь сделать несколько шагов по ровной каменной площадке перед пещерой и войти внутрь. В пещере было темно. Нет, это были не сумерки: тьма. Изначальная, вечная тьма.

Он двинулся вперед.

Она обогнала его, эта девушка, оттолкнула, спихнула с узенькой тропинки, бросилась вниз через каменную площадку к пещере, ко входу в нее — но не вошла. Резко остановилась, подобрала камень и швырнула его прямо в темную пасть пещеры, крича тонким пронзительным голосом, похожим на птичий: — Ну давай выходи! Выходи же!

— Назад! — крикнул Хью, настигнув ее в три прыжка. Придерживая ножны левой рукой, он правой выдернул из них шпагу — помощи ждать было неоткуда. Из пещеры дохнуло холодом, из ледяного мрака вылетел голос разбуженного чудовища, его жуткий вой. И появилось ужасное лицо, нет, не лицо, а нечто безглазое, в трещинах морщин, нечто отталкивающе белое и слепое высунулось оттуда и начало вздыматься над ним. Держась за рукоять меча обеими руками, Хью ткнул острием вверх, внутрь белого морщинистого живота и изо всех сил резко потянул лезвие вниз. Свистящий рыдающий крик перерос в непереносимый вопль. Опутанное собственными вывернутыми внутренностями и покрытое бледной кровью, чудовище, взревев, рывком поднялось во весь рост, вырвало шпагу у него из рук, а потом рухнуло прямо на юношу, подминая его под себя, когда он попытался — увы, поздно — отбежать от него подальше.

ОНО все еще шевелилось. Подергивание рук, маленьких, похожих на передние лапки ящерицы и одновременно на руки человека — плечо, ладонь, пальцы, — было ритмичным, но чисто рефлекторным, ненаправленным. Человеческие руки, женские... И еще женскими были груди, расположенные, как сосцы свиноматки, от подмышек и вниз по бокам вдоль всего живота до того места, где в такт предсмертным судорогам то появлялась, то исчезала зияющая рана, из которой торчала рукоять шпаги. Ирена на четвереньках отползла в сторонку и низко пригнулась — ее вырвало на пыльные скалы, вывернуло наизнанку. Когда она наконец почувствовала, что в состоянии приподняться, то поползла прочь, подальше, прочь от умирающей твари с распоротым брюхом. Но под дергающейся тушей лежал Хью, и разве могла она бросить его там? Впрочем, он, наверно, тоже был мертв или умирал, а ей было так страшно, что она ничего не могла поделать, ничем не могла ему помочь. Она даже на ноги встать не могла. Только не переставая дрожала и постанывала, поскуливала, как щенок. Когда ей все же удалось подползти так близко, что подрагивающие ручки оказались над ней и стали отчетливо видны скользкие внутренности в распоротом брюхе и Хью, лежащий на спине, придавленный огромной морщинистой ногой и тушей чудовища, то не осталось даже сил ухватиться за него, не только его высвободить. Надо было как-то сдвинуть мерзкое чудовище, как-то спихнуть его с тела Хью. Но стоило ей коснуться руками белого морщинистого бока, как она издала пронзительный вопль.

Бок был ледяной, это был холод смерти. Чудовище лежало бессильно и неподвижно, лишь непроизвольно содрогалось, дрожь пробегала по всему его телу. Она попробовала толкнуть тушу, опустив голову, закрыв глаза, обливаясь слезами. Туша немного сдвинулась, потом повернулась, потом перекатилась на спину, высвобождая тело Хью, ле-

жавшее в мерзком месиве из слизи и крови. Тонкие белые передние конечности твари теперь были воздеты к небу. Склонившись над Хью, Ирена краем глаза видела, как их подергивание становится все слабее и судорожнее. Хью лежал на спине, обе ноги неуклюже закинута на сторону, лицо покрыто кровью, как маской. Она попыталась прямо руками стереть кровь с его лица, чтобы очистить хотя бы рот и нос, потому что дышал он с трудом, часто хватая воздух ртом, и продолжал лежать совершенно неподвижно; лицо его на ощупь было холодным. Эта тварь слишком долго была на нем, заморозила, остановила его живую кровь. Хью был повержен, Если бы только ей удалось вытащить его из этого месива, подальше от белой подергивающейся туши,— ах, если бы можно было туда не глядеть! — и оттащить его куда-нибудь подальше, вымыть, развести костер и согреть, согреть его и самой согреться. Но она не в силах была его сдвинуть. Если у него на спине рана, такой попыткой его можно просто убить. Она не решалась даже ноги ему поправить — вдруг переломаны?

— Что же мне делать? — простионала она вслух и почувствовала, что язык распух, пересох и еле ворочается во рту. Жажда давно уже томила ее — в течение всего долгого пути к этой пещере, в течение многих часов, пока Хью шел и шел вперед своей безжалостной размеренной походкой, не останавливаясь, словно рвался к цели, словно его тянуло магнитом; ей оставалось лишь следовать за ним, потому что она прекрасно понимала — в одиночку ни один из них никогда не выберется из этой страны. А путь был все круче и круче, и совсем перестали попадаться ручьи, а потом они дошли до пещеры. Но теперь рот у нее как ссохшийся пластырь. Должна же где-нибудь здесь быть вода! Она откинулась назад и села на пятки, глядя невидящими глазами на каменистую площадку перед входом в пещеру — перед этой темной пастью,— на голые склоны, на утесы наверху, на верхушки деревьев и гребни скал по другую сторону пропасти. Она не желала смотреть

на белую тварь, но подрагивание мерзких передних конечностей все же замечала краем глаза постоянно; подрагивание стало совсем слабым, почти прекратилось. Она попыталась обтереть о камни руки, которые были покрыты коркой слизи и засохшей крови и почти не сгибались. И вдруг услышала, как в горле Хью ожило дыхание. Хью пошевелил руками и кашлянул — слабенько, жалобно, как ребенок. Губы его задвигались, и он медленно открыл глаза. Выражение глаз было совершенно бессмысленным, но когда она присела рядом на корточки и позвала по имени, то он взглянул на нее, и, увидев голубизну его глаз, она поняла, что душа его жива.

— Хью, ты можешь двигаться? Сесть можешь?

Дыхание со свистом вырывалось из его груди.

— Д'шать н'чем,— еле слышно проговорил он.

— Это ничего. Ты просто выбился из сил. Если можешь двигаться, то хорошо бы нам убраться отсюда подальше. Я не могу тебя поднять.

— Толстый,— сказал он.— Погоди.

Он закрыл глаза, потом медленно открыл их, сжал губы и заставил себя приподняться на обоих локтях. Голова бесильно свисала на грудь.

— Держись,— сказал он то ли ей, то ли себе.

— Вот так! — сказала она, поддерживая его за плечи.— Молодец!

Он со стоном встал на колени. Секунду постоял. Похоже, он совсем не сознавал, где находится, не замечал белой твари, дрожащей рядом; дальше собственного тела его мысли в данный момент не распространялись. Когда он попытался встать, Ирена наконец смогла как-то помочь ему — поставила свое плечо как костыль. Он был очень тяжелый, еле держался на ногах, ничего не видел. Пошатываясь, она повела его вокруг туши поверженного чудовища, через площадку перед пещерой, в небольшую рощицу тонкоствольных деревьев, что росли недалеко от скалы, на тропинку, которая почти сразу же резко сворачивала влево и вниз.

Спуск был таким крутым, что Хью не мог удержаться на ногах. Но все же они отошли от пещеры достаточно далеко. Теперь надо было уложить его или усадить на тропе и отправиться на поиски воды, потому что она услышала журчание ручья и поняла, что слышала этот звук все время, пока они были на площадке перед пещерой. Она проволокла Хью за следующий поворот. Дорожка сбегала вниз между густыми папоротниками. Сверху падал ручеек — чистая прозрачная лента вилась между валунами, пересекала тропинку и исчезала в зарослях папоротника и трав где-то внизу, на склоне Горы.

— Вот, — сказала Ирена. Как только она перестала поддерживать Хью, он снова опустился на колени, а потом и на четвереньки. — Ложись, — сказала она, и он бессильно опустился на бок и лег меж папоротников.

Она напилась, вымыла руки и лицо в неиссякающих ясных струях, принесла воды Хью — в ладонях, каждый раз по глотку, большего она для него сделать не могла. Она попыталась усадить его, чтобы снять с него рубашку. Он слабо сопротивлялся. «Хью, она же вся в крови и в какой-то гадости, она воняет, Хью...»

— Мне холодно, — упрямылся он.

— У меня есть одеяло, плащ. Он сухой, ты согреешься.

Он сопротивлялся не очень настойчиво, и ей все-таки удалось стащить с него кожаную куртку. Он раза два болезненно вскрикнул, когда она вынимала его руки из рукавов, и она решила, что плечо у него или сломано, или вывихнуто, но он вполне внятно сказал: «Ничего, все в порядке». Весь перед его рубашки задубел и был покрыт коркой бледного красновато-коричневого цвета; рубашку с него она тоже сняла, не обнаружив на теле никаких ран. Его плечи, руки и грудь были крупными, гладкими и сильными, очень белыми в сумрачном полусвете, царившем меж папоротников. Она завернула Хью в красный плащ, а когда как-то отстирала его рубашку, то использовала ее как губку, чтобы отмыть ему лицо, шею и руки; потом снова выполоскала рубашку

и отжала, одновременно и сама лечась и отмываясь в воде, наслаждаясь ее холодными, чистыми прикосновениями. Когда она оставила его в покое, он лег и закрыл глаза. Дышал он все еще поверхностно, но спокойно. Она сидела, накрыв его руку своей, успокаивая этим и его и себя.

В ущелье, которое они раньше видели сверху, царила тишина. Вся Гора словно оцепенела, только непрерывно звучала тихая музыка бегущего ручья.

Здесь было хорошо, в этом убежище у тропы: папоротники, валуны, прозрачная сверкающая лента воды, спокойные темные ветви елей. Она посмотрела вверх. Тропа описывала почти полный круг; они, должно быть, находились почти под той каменной площадкой у входа в пещеру. Этот ручеек зарождался где-то чуть ниже пещеры и здесь выходил на поверхность, к свету. Здесь они были вроде бы рядом с пещерой, но на другом уровне, словно в другой плоскости. Никогда не думаешь о том, чтобы постараться пройти мимо дракона, думала Ирена. Только и думаешь, как бы до него добраться. А вот что делать потом?

Она снова заплакала, тихо, без надрыва. Слезы, прозрачные, как вода ручейка, омывали ее щеки. Она думала об этих жалостных ужасных ручках, о белых сосцах; она плакала, спрятав лицо в ладонях. Я миновала обитель чудовища и обратно пойти не смогу. Я должна идти дальше. Это когда-то было моим домом — огонек в окне, огонь в очаге, я была там ребенком, я была их дочерью, но это ушло. Теперь я только *дочь дракона, дитя короля*, та, что должна идти одна, и я пойду вперед, потому что позади у меня больше нет дома.

Маленький и бесстрашный, пел ручеек. Она наконец свернулась в клубок на земле и уснула, совершенно измученная. Место было болотистое: прикосновение холодных папоротников вызывало озноб, земля пахла влагой. Никак не удавалось согреться. Рядом не было ничего подходящего для костра, а у нее уже совсем не осталось сил, чтобы снова встать и пойти в лес за дровами, да еще разжигать костер.

Хью крепко спал. Он лежал почти на животе, прижав к себе руки, чтобы согреться. Край красного плаща зацепился за папоротники и повис на них. Она заползла под этот краешек, прижалась спиной к спине Хью. Но это не помогло. Тогда она перевернулась на другой бок и под плащом обхватила его сбоку рукой. Так было теплее, так было спокойнее. Она камнем провалилась в сон.

Проснувшись, Ирена еще некоторое время лежала в теплых путах сна, в сонном ритме дыхания Хью и своего собственного, совершенно спокойная. В памяти, как на поверхности воды от брошенного камешка, расходились круги воспоминаний; вот она бежит по крутой узкой тропинке ко входу в пещеру, кричит что-то яростное, бежит и падает, поскользнувшись на камнях... наконец она села, выпутываясь из складок красного плаща. Все еще сонная, посидела, глядя на папоротники вокруг, на ручеек, на деревья, карабкающиеся по склонам ущелья, на голубоватые пропасти и дальние горные хребты, на бесцветное небо. Отползла назад, к ручью, и присела на корточки, чтобы напиться там, где вода у серого валуна образовывала маленький водоворот; тщательно умылась и вымыла шею и плескала водой до тех пор, пока не прояснилось в голове, потом отошла в сторону от тропы в лес. Когда она вернулась, Хью сидел сгорбившись, укутанный плащом. Его густые, жесткие светлые волосы после ее жалких попыток отмыть их от крови и грязи свалились и торчали в разные стороны; на подбородке выросла густая щетина; он казался очень большим и измученным. Когда она спросила, как он себя чувствует, ему потребовалось довольно много времени, чтобы ответить: — Ничего. Только холодно.

Она развязала сверток и достала еду. Предложила ему хлеба и мяса, но он даже руки из-под плаща не вынул. Как-то жалобно пожал плечами и сказал: — Не сейчас.

— Давай, давай. Ты вообще не ешь... вчера да и раньше тоже...

— Не хочется.

— Ну тогда хоть попей.

Он кивнул, но не двинулся с места, чтобы пойти напиться к ручью. Помолчав, сказал: — Ирена.

— Да? — откликнулась она, жуя вяленую баранину. Она умирала от голода и уже пожирала глазами его нетронутую порцию.

— Это... Где...

— Там, наверху,— сказала она, показав куда-то выше ручья. Он с отвращением посмотрел туда.

— А ОНО...

— ОНО мертво.

Хью содрогнулся: она хорошо видела, как сильная дрожь пробежала по всему его телу. Стало его жаль, но в данный момент ее гораздо больше занимала еда.

— Поешь немножко,— сказала она.— Так вкусно! Нам бы нужно уходить, пока не поздно. Если ты в состоянии, конечно.

— Нужно уходить... — повторил он за ней.

Она набросилась на кусок черствого хлеба.— Надо уходить. Насовсем. К проходу.

Он ничего не сказал. Взял кусочек вяленого мяса, почти с отвращением пожевал его, потом отложил. Пошел к ручью напиться. Он двигался неуклюже, и прошло довольно много времени, пока ему удалось встать на колени и наклониться к воде. Долго пил, потом наконец поднялся, словно это был тяжкий труд. Красный шерстяной плащ он так и не снимал.

— Мне бы мою рубашку или хоть что-нибудь,— сказал он.

— Сейчас посмотрю, высохла ли она. Ее пришлось выстирать. И куртку твою тоже.

Он посмотрел вниз, на свои джинсы, задубевшие, покрытые черными разводами запекшейся крови, и слотнул.

— Правильно. А где она? — Он увидел рубашку — девушка разложила ее на листьях огромного папоротника — и стряхнул с плеч плащ, чтобы ее надеть. Ирена наблюдала

за ним и видела, как красивы его крупные, блестящие руки и шея. Ее сердце разрывалось от жалости и восхищения.

— Ты убил эту тварь, Хью! — сказала она.

Не без труда покончив с пуговицами на рубашке, он повернулся к ней. Они стояли неподвижно среди веерообразных папоротников и серых валунов и смотрели друг на друга.

— Ты меня опередила, — медленно сказал он, вспоминая миг, когда они вышли из-за поворота тропинки. — Ты побежала вниз... ты звала: «Выходи же!» Как ты решилась?.. Что заставило тебя сделать это?

— Не знаю. Мне уже тошно было бояться вот так. Я просто с ума сходила. А когда пещеру увидела... Когда я увидела пещеру, то знала, что ОНА там, а ты войдешь к НЕЙ в пещеру и никогда не выйдешь оттуда, и этого я вынести не могла. Я должна была вызвать ЕЕ оттуда.

Он заправил рубашку в джинсы, морщась при каждом движении.

— Ты говоришь «она»? — спросил он.

— Да, это была ОНА. — Ей не хотелось рассказывать о сосцах и тоненьких передних конечностях.

Он потряс головой, глядя больными глазами и все больше бледнея. — Нет, ОНО... Вот почему я должен был убить ЕГО... — и протянул руку, словно ища опоры, и пошатнулся.

— Неважно. ОНО мертво.

Он стоял неподвижно, отвернув лицо, глядя на ручей.

— А шпага?..

— Перевязь и ножны где-то здесь, в папоротниках. А шпага... — Она, наверно, тоже выглядела бледной и жалкой, потому что он вдруг резко сказал: — Мне она не нужна!

— Хью, я считаю, что нам следует идти дальше. Я хочу идти вперед. Если у тебя хватит сил.

— А между прочим, что все-таки со мной случилось?

— ОНО упало на тебя.

Он глубоко вздохнул; лицо его было совершенно растерянным.

— Тебе не кажется, что у тебя что-нибудь сломано?

— Да нет, я в порядке. Согреться вот не могу.

— Тебе бы надо поесть.

Он помотал головой.

— Тогда, может, пойдем? Здесь сыро. Может, тебя ходьба согреет.

— Верно,— сказал он, опускаясь на папоротники, прямо туда, где они спали.

Ирена начала собираться: увязала пакет с едой и все еще влажную куртку так, что легко могла нести все это, и отдала Хью красный плащ.

— Завернись в него как следует, смотри, он на шее завязывается. А твою куртку я пока понесу, она по дороге высохнет.

Он так неуклюже поднялся на ноги, что она спросила: — У тебя с плечом все в порядке?

— Да, но бок болит, кажется, я что-то там повредил.

— А идти-то сможешь? — нервно спросила она, пряча испуг.

— Думаю, мне полегчает, когда согреюсь,— сказал он извиняющимся тоном.

— Я не знаю, где мы,— сказала она.

Они стояли на тропе там, где ручей метра в полтора шириной, журча, пересекал тропу, нырял в папоротники, в траву и бежал между корнями деревьев вниз по склону.

— Единственный способ понять, где мы сейчас,— вновь подняться по тропе к пещере, а потом идти назад, к Верхнему Перевалу, и потом к Городу и на Южную дорогу.

— Нет,— сказал Хью.

— Ну что ж,— сказала она с большим облегчением, которого старалась не показывать,— мне тоже неохота. Это ужасно далеко. Но отсюда я никак не могу понять, где находится порог.

— Если мы пойдем вниз,— сказал он,— возможно, чувство оси вернется снова.

— Ладно. Если это южная сторона Горы, то наша тропинка

ка ведет на восток. Если нам удастся более или менее придерживаться восточного или юго-восточного направления, то мы должны будем, видимо, пересечь Третью Речку где-нибудь ниже. А потом надо идти вдоль нее до дороги и — прямо к проходу. Это будет по крайней мере в два раза короче, чем возвращаться прежним путем.

Он кивнул, и она пошла вперед по тропе под густыми, тесно стоящими елями. Ходьба доставляла ей радость и решение не возвращаться назад — тоже; вообще-то она боялась, что он все-таки захочет пойти назад. *Иди и не оглядываясь назад...*

Белые фигуры, стоящие в молчании на сумеречной дороге, — так давно это было и теперь неизменным останется в памяти навсегда.

Тропа, узкая, каменистая, шла по склону холма вниз, спускаясь довольно полого. Идти было приятно — словно в конечностях расходились, рассасывались какие-то болезненные узлы, заживали царапины, дыхание становилось свободнее. Весь бесконечный путь от Верхнего Перевала до пещеры, весь тот день — или дни? — страха и непрерывного движения вперед она не могла дышать полной грудью: легкие ее словно были сдавлены чем-то изнутри. Сейчас она получала от нормального дыхания такое же удовольствие, как если бы пила родниковую воду. Я дышу, дышу, я дыхание, вот так, вот так, ну, иди, иди по земле, я земля, я твое дыхание, и я всему этому рада.

Они шли долго, пока тропа не привела их глубоко в ущелье. Здесь царили густые сумерки, беззвучный родник струился под нависающими над ним травами и папоротниками; скользкие камни, еле видный в сумерках другой берег ручья. Хью медленно переходил ручей вброд. Она видела, что идти ему трудно. Оказалось, что здесь тропа поворачивает обратно и идет на запад.

Если только это был запад.

Вся ее радость как-то незаметно улетучилась в этом темном месте, среди скользких камней. Если они прошли даль-

ше, чем она рассчитывала, а пещера этой твари была на западной стороне Горы, тогда все ее расчеты были неверны. Об этой местности она не знала ничего. *Аниротембре* — Земля За Горой — вот название, которое они иногда произносили, но ничего не рассказывали об этих местах. Если здесь и есть какие-то города, то о них тоже никогда не упоминалось. Хью, кажется, что-то говорил однажды о западном крае? Что-то про море. Это плохо. Она должна решить, что делать дальше. Тропа, на которой они находятся сейчас, возможно, описывает круг. Это та же самая тропа, по которой они шли все время с тех пор, как покинули Верхний Перевал, — драконова тропа. Она может без конца вот так извиваться в ущельях, ползти то вверх, то вниз по склонам Горы, опоясывать Гору и наконец все же вернуться назад, к Верхнему Перевалу. Дни и дни трудного пути, а Хью уже и так еле держится на ногах и голову опустил — рад передышке. Нет никакого смысла ходить кругами. Они должны сойти с проклятой тропы и во что бы то ни стало выбраться отсюда.

— Мне кажется, нам здесь стоит сойти с тропы, — сказала она. Сказала чуть слышно, потому что в этом глубоком ущелье было страшновато. — Нам надо непременно постараться идти прямо на восток.

Он посмотрел вверх на нависающие над ними темные скалы. — Без тропы будет трудно сохранить вообще какое-нибудь определенное направление...

— Эта река течет на восток. Я уверена. Мы можем идти вдоль нее.

— Ладно.

— Нет, я не совсем уверена, что она течет на восток, — коротко поправилась Ирена, — но мне так кажется.

— Все равно узнать неоткуда. — Он простил ей самоуверенность без лишних слов. — Сам-то я вообще никуда бы не пришел, один, без тебя, — сказал он, глядя на нее в сумеречном свете.

— На волю снова, Бротиган*,— сказала она.— Может, и на волю. Если только эта река течет туда, куда надо.

— А это вовсе не река. Это родник,— с удовольствием сказал он.

— Я все их называю реками. Хочешь здесь немного отдохнуть?

— Нет. Земля слишком сырая. Пойдем дальше.

Почему-то, сойдя с тропы, они не испытали никакого беспокойства, словно искать путь самостоятельно было самым обычным делом, словно они знали, куда идти. Во всяком случае, сначала двигаться оказалось вовсе не трудно. Деревья на этой стороне, все больше тсуги**, огромные, старые, росли без подлеска прямо по берегу ручья. Склоны были крутые. Ей даже захотелось укоротить свою правую ногу сантиметров на пять. Но шли они неплохо, и здесь было гораздо светлее.

Ручей начал довольно круто спускаться вниз. Ирена старалась держаться подальше от воды и прокладывала путь по сухой гальке, где ступать было легче, а направление указывала сама бегущая вода. Кроме того, ее не оставляла надежда, что отсюда, где чуть повыше, она сумеет увидеть, куда ведет их путь, но перспективу все время закрывали слишком тесно растущие деревья. Не глупо ли они поступили, сойдя с тропы? Возможно, и глупо, но назад поворачивать она не собиралась. Единственное, что им теперь оставалось, это попытаться все же найти выход. Ей хотелось есть. Остановившись было еще рановато, но она подумала: сколько же они прошли от того места, где спали в папоротниках там, недалеко от пещеры? За эти часы они наверняка оставили позади немало километров. И, обернувшись, она сказала: — Мне бы хотелось чуточку передохнуть.

Хью тащился следом. Он тут же встал, огляделся и показал на небольшую ровную площадку между корнями двух огромных, косматых деревьев. Туда они и направились. Он

* Джеймс Джойс. Поминки по Финнегану.

** Тсуга — американское хвойное дерево.

все еще кутался в красный плащ, со спины здорово смахивая в нем на чью-то бабушку, зато спереди напоминая короля, одетого в мантию. Они подыскиали корни поудобнее и уселись; Ирена развязала сверток с едой.

— Может, нам на этот раз только немножко перекусить, а поплотнее поесть потом? Ты как, сильно проголодался? — спросила она.

— Совсем нет.

— Все же поешь чего-нибудь.

Она приготовила еду — порции, на ее взгляд, были позорно маленькими, — остальное отложила и набросилась на свою долю. Думала, что жует медленно и растягивает удовольствие, но еда исчезла в один миг, исчезла, когда он и половины своей доли не съел, а хлеб еще вообще не тронул. Она смущенно посмотрела на него. Он был бледен, но изнуренный вид ему придавала в основном давно не бритая борода. Выражение лица его больше не казалось таким напряженным. В целом он выглядел спокойным и даже довольным, бездумно смотрел вокруг, на деревья. Очевидно почувствовав ее взгляд, он обернулся.

— Ты работаешь или учишься? Чем ты занимаешься? — спросил он.

Вопрос показался ей диким, бессмысленным, просто невозможно было отвечать на него здесь, когда они совершенно заблудились на этой Горе. Только потом до нее дошло, почему Хью его задал, и нечто похожее на благодарность шевельнулось в ее душе. Теперь она не находила в его вопросе ничего странного.

— Я работаю. Фирма «Мотт и Зерминг». Я экспедитор.

— Кто-кто?

— Экспедитор. У них по всему городу раскиданы всякие филиалы и дочерние предприятия и полно корреспонденции, уведомлений, разных там «синек» и прочего — они ведь во многом связаны с производством, и им необходимо, чтобы кто-то развозил все это по различным конторам: выгоднее, чем по почте посылать. Для этого требуется довольно много

людей, но компания достаточно тесно локализована, да и господин Зерминг любит вести дела по старинке. Ему нравится использовать для экспедиции людей с машинами. Но бензин мне достается бесплатно.

— Но это же кошмар! — сказал он сочувственно. — Значит, ты весь день мотаешься туда-сюда?

— Некоторые поручения проще выполнить пешком, особенно если конторы расположены в центре. Или съездить на автобусе. А иногда из машины действительно не вылезешь весь день. Это уж как повезет. Мне эта работа нравится, потому что я сама себе хозяйка и делаю все так, как считаю нужным — в какой-то степени, по крайней мере. Я терпеть не могу, когда мне указывают, как именно и что я должна делать.

— К сожалению, почти всякая работа делается именно так.

— Хуже всего то, что моя работа — это что-то ненастоящее. Понимаешь? *Делать*, собственно, ничего и не приходится. Ездишь да ездишь и так никуда и не приезжаешь.

— А что бы ты хотела *делать*?

— Не знаю. Вообще-то против теперешней работы я ничего не имею. Знаешь, она не такая уж плохая. Работа как работа. Но мне кажется, что если по-настоящему что-то *делать*, то сразу почувствуешь себя иначе. Должно быть так. Например, если ты фермер. Или преподаватель. Или воспитатель. Но для этого у меня ничего нет. А надо по крайней мере иметь свой кусок земли и трактор. Или диплом преподавателя, медсестры или еще какой-то.

— Ты могла бы поступить на вечернее отделение государственного колледжа, — сказал он задумчиво. — А днем работать. Во всяком случае, попробовать можно, если...

— Похоже, ты и сам об этом не раз думал. Или тебя какой-то специальный колледж интересует?

— Почему ты решила?

— Ты вроде говорил, что интересуешься библиотечным делом.

Он снова посмотрел на нее. Долго смотрел.

— Верно,— сказал он, и она совершенно инстинктивно, не задавая вопросов, поняла, что узнала о нем нечто сокровенное и сделала это очень хорошо. Не важно, как именно это получилось, но результат ее обрадовал.

— Сумасшедший,— сказала она.— Возиться с кучами книг! И что только ты с ними собираешься делать, а?

— Не знаю,— сказал он.— Читать, наверно?

Улыбка у него была очень добродушная. Она рассмеялась. Глаза их встретились, и оба тут же стали смотреть в разные стороны. Немного помолчали.

— Если бы я только была уверена, что теперь мы идем на восток... Так было бы здорово!.. А ты как себя сейчас чувствуешь? Ничего?

— Хорошо.

Он всегда говорил спокойно, но она слышала в его голосе твердость, молчаливую уверенность. Наверно, он очень хорошо поет — голос у него музыкальный.

— Ужасно жжет вот здесь,— заметил он вдруг с каким-то удивлением, осторожно ощупывая левый бок.

— Дай-ка я посмотрю.

— Да ладно, ничего.

— Нет уж, давай посмотрим. То-то я вижу, что ты, когда идешь, стараешься этим плечом не двигать.

Он попытался задрать рубашку, но не смог даже поднять левую руку. Расстегнул рубашку. Он стеснялся, и она старалась вести себя безразлично-заботливо, как врач. Примерно на уровне локтя на ребрах было зеленовато-черное пятно величиной с крышку большого кофейника.

— Господи! — вырвалось у нее.

— Что там? — спросил он озадаченно, тщетно пытаясь рассмотреть собственный бок.

— Вроде бы синяк.— Она вспомнила о ручке шпаги, торчащей из живота белой твари. Ее собственное тело все напряглось и как-то подобралось при одном воспоминании об этом.— Это, наверно, когда ОНА... когда эта тварь упала

на тебя.

Вокруг ужасного пятна кожа была желтоватой, а вокруг грудины были еще странные пятна и настоящие синяки.

— Ничего удивительного, что тебе так больно,— сказала она. Она пальцами ощущала, какое это пятно горячее, практически его не касаясь.

Он перехватил ее руку своей. Она решила, что сделала больно, и заглянула ему прямо в глаза. Так они и застыли — она на коленях возле него, он, сидя с согнутой в колене ногой.

— Ты сказала, чтобы я никогда тебя не касался,— хрипло проговорил он.

— Это было раньше.

Его плотно сжатые губы расслабились, помягчели, но лицо по-прежнему было сосредоточенным, удивительно серьезным, однажды она уже видела его таким. И она не один раз замечала раньше похожее выражение на лицах других мужчин. И отвернулась. Теперь она не боялась, осторожно, но с любопытством наблюдала за ним, дотронулась до его губ и впадины у виска так же нежно, как касалась того пятна, желая знать ту его боль и эти его мысли. Он прижал ее к себе, но как-то неуклюже, застенчиво, тогда она сама обняла его обеими руками, и тело ее стало таким же нежным и быстрым, как вода, и они слились в страстном объятии; и ее сила поддерживала его.

Радость слияния оба испытали одновременно, а потом лежали рядом, тесно сплетаясь телами, грудь к груди, смешав дыхание, и снова слились, растворяясь друг в друге, наполняя друг друга радостью.

Он лежал с закрытыми глазами, голова чуть отвернута в сторону, почти обнаженный. Она провела рукой вдоль его красивого тела от бедра до горла, смотрела на удивительно невинные, совсем светлые шелковистые волосы у него под мышкой.

— Тебе холодно,— сказала она и умудрилась, не вставая, укрыть его и себя красным шерстяным плащом.

— Ты прекрасна,— сказал он, руками пытаюсь описать эту красоту, лаская ее, но не настойчиво, а нежно, сонно.

Он лежал, прильнув лицом к ее плечу. В полусне она видела над собой недвижные листья деревьев на фоне тихого неба. Покой, который они обрели друг в друге, был великим даром, но и единственным утешением, которое они могли друг другу дать. Земля под ними была жесткой. Она почувствовала, что его, спящего, пробирает дрожь, и попыталась встать. Он воспротивился было, произнес ее имя и снова погрузился в сон.

Она натянула одежду, слегка дрожа, а когда он проснулся, заставила его надеть кожаную куртку, которая наконец-то высохла, а поверх куртки еще и шерстяной плащ.

— Это шок. Тебе из-за него так холодно,— сказала она.

— Какой шок? — спросил он с идиотской ухмылкой.

— Заткнись. Тебе холодно — потому что ты перенес шок от удара.

— Я думаю, мы уже нашли способ согреться.

— Да, все это, конечно, замечательно, но мы никогда не доберемся до порога, если так и будем лежать здесь и заниматься любовью, Хью.

— Я не знаю, доберемся ли мы туда, если встанем и пойдем,— сказал он.— По крайней мере, будем теперь на стоянках получать удовольствие.— Сказав это, он посмотрел на нее, чтобы убедиться, что не обидел ее, не оскорбил. Его скромность и уязвимость ее особенно радовали. Сама она гораздо грубее, подумалось ей, и если бы он стал судить ее, то, может, она бы ему и не понравилась; но он не стал ее судить. Он пришел к ней не для того, чтобы судить ее, или как-то оценивать, или просто попользоваться ею. Он пришел к ней, лишь принося ей в дар свою силу и прося у нее защиты.

Он смотрел на нее.— Ирена, знаешь, это было самым лучшим из всего, что со мной когда-либо происходило.

Она кивнула, не в силах ответить.

— Я думаю, нам следует идти дальше,— сказал он и за-

думчиво, с отвращением ощупал свой левый бок.— Хорошо бы это побыстрее прошло.

— Время понадобится. Синяк ужасный.

Он снова посмотрел на нее неуверенно, потом решительно подошел к ней, погладил по голове, по щеке, поцеловал в губы — не очень умело и не очень страстно; но это был их первый поцелуй. И больше, чем поцелуй, ей понравилось прикосновение его огромной руки. Хотелось сказать ему, что он прекрасен, что очень нравится ей, но она как-то не умела говорить подобные вещи.

— Тебе не холодно? — спросил он.— А то я все на себя напялил.

— Я от ходьбы всегда согреваюсь.

Он подождал, пока она первой двинется в путь, даже не пытаясь выяснять, куда они пойдут дальше. С новым чувством полного доверия она пошла вперед, вдоль по берегу ручья, в том самом направлении, которое решила считать восточным.

Они довольно долго упорно молчали. Складка Горы, по которой пролегал их путь, съехала куда-то влево, то поднималась, то исчезала, но общее направление было все время одним и тем же — вниз по склону Горы. Деревья вокруг были редкими, идти нетрудно, и попадались даже довольно длинные участки открытой местности, где было приятно ступать по короткой сухой коричневатой траве, наконец выбравшись из-под нависающих ветвей. Потом спуск пошел очень круто, превратился почти в обрыв. Пришлось ползти вниз, цепляясь за корни или скатываясь на собственном заду, и вскоре они очутились на дне глубокой расщелины, у ручья, среди поднимавшихся круто вверх и густо поросших лесом стен. И сразу же бросились к воде.

Утолив жажду, Ирена взобралась повыше, туда, где упавшее дерево примяло вокруг себя кусты, и там постояла, решая, куда идти дальше, осматриваясь. Ручей был почти такой же большой, как Третья Речка. Если это действительно

но Третья Речка, то им остается только идти вдоль нее, пока не доберутся до Южной дороги. Скорее это тот же самый ручей, вдоль которого они шли почти от самых его истоков. Тот же, что бежал меж папоротников ниже драконовой пещеры. Он тек по этому ущелью на восток или юго-запад, вниз по склону. Третья-то Речка точно текла на запад, мимо Горы. Должно быть, это ее приток. Он должен течь справа налево, а Третья Речка, если считать отсюда, течет направо, если только сама Ирена в данный момент стоит лицом к югу...

Она стояла и пыталась решить задачу: каким образом ручьи могут течь в разные стороны и в какую сторону она смотрит сейчас. В горле застрял комок. Названия сторон света, принятые в географии — север, запад, юг, восток, — не имели здесь значения. В какую бы сторону она ни повернулась, все это мог быть юг. Или север.

Хью подошел к ней, встал рядом. — Хочешь отдохнуть? — спросил он, положив ей на плечо руку, но она отшатнулась.

Он тут же отошел, пересек небольшую полянку и уселся, прислонившись спиной к массивному стволу упавшего дерева и закрыв глаза.

Когда Ирена наконец уселась с ним рядом, он сказал: — Может быть, мы чего-нибудь поедем?

Она разложила всю оставшуюся еду. Еды оказалось больше, чем она думала: с лихвой хватит, чтобы продержаться еще день. Это придало ей мужества, и она сказала: — Я не знаю, где мы.

— А мы и так никогда этого не знали, — ответил он равнодушно. Потом, с видимым усилием взяв себя в руки, открыл глаза и начал задавать вопросы и сам же на них отвечать. Они долго решали, продолжать ли двигаться вдоль ручья как раньше, ибо ручей, по всей вероятности, все же сольется с более крупной речкой.

— Или, в противном случае, мы придем к морю, — сказал он нарочито веселым тоном, но тут же осекся.

— Можно попробовать, конечно, прямо здесь свернуть

левее, — сказала Ирена, трудясь над вторым ломтиком вяленого мяса и чувствуя, как еда оживляет ее. — Вообще-то я считаю, что мы взяли недостаточно к востоку. И пока мы еще на Горе, значит, не совсем заблудились: по крайней мере, понимаем, где находится сама Гора.

— Но мы совсем не приближаемся к проходу.

— Знаю. Только Гора для нас — действительно единственный ориентир. С тех пор как мы утратили ощущение оси.

— Да. Все кругом одинаковое, похожее. Как в тот раз, когда я прошел мимо порога. Мне кажется... Мне кажется, то, чего я боялся, уже повторилось. Прохода там больше нет. Нечего и искать.

— Со мной такого никогда не случилось, — сказала она уверенно, — и не случится! Я не собираюсь здесь оставаться!

Он выкладывал рисунок из еловых иголок на земле возле упавшего дерева.

— Это твое, — сказала она, стараясь не смотреть на его долю.

— Я как-то не очень проголодался.

Помолчав, она сказала: — Надеюсь, ты не пытаешься сэкономить побольше для меня или еще что-нибудь такое же жалостное, а?

— Нет, — явно изумившись, сказал он, потом улыбнулся и посмотрел на нее. — Просто есть не хочется. Но если я проголодаюсь, тогда только держись!

— Но ты же не можешь без конца идти и идти и ничего не есть!

— Могу. Буду питаться собственным жиром, как верблюд.

Она прыснула. Ей хотелось придвинуться к нему поближе, коснуться его, погладить жесткие волосы и усталое, заросшее щетиной лицо, большую, сильную и все же какую-то детскую руку, но мешало то, что сама она всего несколько минут назад увернулась от его прикосновения. Ей хотелось доказать, что он напрасно занимается самоуничтожением, но она не находила нужных слов.

Глаза у него, похоже, снова закрывались сами собой; он откинулся назад, привалился к стволу дерева. Она ничего не сказала, затаилась, настроение у нее все больше и больше портилось. Когда она снова взглянула на него, он спал, лицо его расслабилось, рука безвольно лежала на бедре.

Надо было идти дальше. Обязательно. Они не могут сидеть тут и спать. Так можно никогда не добраться до порога.

— Хью,— позвала она. Он не слышал. И вдруг ее беспокойство полностью растворилось в той немного пугающей ее страстной нежности, из которой, собственно, и родилось. Она подошла к нему и слегка подтолкнула, помогая лечь. Он проснулся.— Спи,— сказала она. Он послушался. Она немного посидела возле него. Сидела и слушала бормотание ручья. Здесь ручей бежал неспешно; тихонько плыла вода над песчаным, чуть илистым дном и пела свою песенку. Ирена почувствовала усталость. Взяла красный плащ, который он сбросил, согревшись в кожаной куртке, и, накрыв его и себя плащом как одеялом, прижалась к Хью и заснула.

Проснувшись, оба почувствовали, что все у них оцепенело, двигаться было трудно и страшно было подумать о том, чтобы идти дальше. Ирена спустилась к ручью напиться. Умылась. Вода была так приятна, а она чувствовала себя настолько грязной после долгого пути, что нашла ниже по течению неглубокую заводь, стащила с себя одежду и купалась. Она стеснялась Хью, который смотрел, как она моется, и поскорее оделась. Он спустился к воде чуть подалее, где берег был ниже, и, с трудом встав на колени, напился.

— Искупайся. Я уже,— предложила Ирена, застегивая рубашку и ощущая приятный озноб.

— Слишком холодно.

— Ты все еще мерзнешь? — спросила она, подходя к нему по болотистому, заросшему папоротниками бережку.

— Все время.

— Это из-за НЕЕ... из-за этой твари... ОНА была ледяная, вспоминать страшно.

— Мне бы снова солнце увидеть...— сказал он. В голосе его звучало такое отчаяние, что она испугалась.

— Мы выберемся отсюда, Хью. Не надо...

— Куда пойдем? — спросил он, вставая на ноги. Ему пришлось цепляться за узловатые ветки кустарника, росшего на берегу, чтобы подняться.

— Мне кажется, лучше по течению ручья.

— Хорошо. Меня что-то больше не тянет лазить по горам,— сказал он, пытаюсь казаться веселым.

Она взяла его за руку. Рука была холодная как лед. Это от воды, решила она, но все же ледяное прикосновение потрясло ее необычайно, вызвав в душе былой страх. Она боялась за Хью. Ирена посмотрела на него снизу вверх и произнесла его имя.

Он встретил ее взгляд и смотрел на нее так, словно видел ее насквозь, и с такой страстью, о которой нельзя было даже говорить. Хью положил ей на голову свою правую руку и прижал к себе. Он был стеной, крепостью, опорной башней — и все же был *смертным, хрупким*, его гораздо легче было ранить, чем потом вылечить; *победитель дракона, дитя дракона*; сын короля, бедный, бедная, недолговечная, несведущая душа. Она почувствовала, как в нем проснулось желание, но руки его сжимали ее с куда большей страстью, чем та, что кипела в его теле. Она прильнула к нему, и так они и стояли обнявшись.

9

Она шла впереди. Он старался не отставать. Она часто оглядывалась и поджидала его. Он старался не отставать, но идти вдоль русла ручья было нелегко: корни, заросли кустарника, сплетающиеся папоротники, да еще подо всем

этим неровная поверхность земли, порой — скользкие камни. С тех пор как он неловко повернулся, спускаясь по крутому склону, боль в боку не оставляла его ни на минуту, мешала дышать и идти. Потом он совсем перестал думать о том, как бы не отстать от Ирены, сосредоточившись на одном — как удержаться на ногах. Там, где в ручей, вдоль которого они шли, впадал другой маленький ручеек, берег превратился в настоящее болото, некуда было толком поставить ногу, и они решили перейти на другую сторону. Это оказалось очень трудно. Головокружение, постоянно мучившее его, мешало сохранять равновесие на скользких камнях да еще бороться с напором быстро бегущей воды. Он боялся, что если упадет, то еще что-нибудь повредит у себя в боку. На другой берег ему удалось перебраться успешно, но скоро им почему-то снова потребовалось переходить ручей вброд, он не понял почему; теперь все его внимание было сконцентрировано на предстоящих ему маленьких шажках. Ирена попыталась перевести его через ручей за руку, но в этом было мало толку. Она такая маленькая, что, если он поскользнется, ей его не удержать, слона чертова, думал Хью. Вода была обжигающе холодной. Потом они оказались уже на другом берегу, и идти стало гораздо легче — по плотному песку между серыми стволами деревьев. Если бы только не болел так бок, теперь казалось, что это шпага, тогда застрявшая в нем, погружается в его плоть все глубже, и глубже, и глубже. Девушка, похожая на тень, шла впереди легкой, неслышной походкой — единственная тень в этой стране без теней, без солнца, без луны. «Подожди меня, Ирена!» — хотелось ему сказать, но говорить было не нужно: она и так ждала. Она обращивалась, возвращалась назад. Ее теплая сильная рука касалась его руки. «Хочешь немного отдохнуть, Хью?» Он качал головой. «Я хочу идти дальше», — говорил он. И шпага снова, на этот раз еще немного глубже погружалась в его тело. Его имя, имя его отца, которое он когда-то ненавидел, звучало как благословение, произносимое ее голосом,

как единый выдох и вдох: ты! Ты моя суть. Ты, встреченная против всех ожиданий. Ты моя жизнь. Не смерть, а жизнь. Мы поженились там, у пещеры дракона.

— Немножко отдохну,— сказал он, опустившись на колени. Она подошла к нему — любящая, верная, озабоченная. Он сказал, чтобы она не волновалась: он просто хочет немного посидеть и отдохнуть. Или он собирался ей это сказать?

Она заставила его прилечь, завернула в красный плащ, поддерживала его и пыталась согреть собственным теплом. Это он был тенью, а она — теплом, солнечным светом.

— Спой ту песенку,— сказал он.

Сначала она не расслышала: из-за шпаги, застрявшей у него в боку, он не мог говорить громко. Когда он повторил свою просьбу, она поняла. Оперлась на локоть и немного отвернула лицо, а потом запела своим тоненьким, нежным голоском, голоском жаворонка, не знающего страха:

Буто́н цветка, на дере́ве лист —
Родимый кров меня хранит.
Но все же жаворонка песнь
В волшебный край манит...

— Это там,— сказал он.

— Что?

— Дома тот волшебный край. Не здесь. Не этот.

Ее лицо было близко-близко, и она погладила его по волосам. Ее тепло переливалось в него, он закрыл глаза. Когда же проснулся, то боль в боку — торчащая шпага? — больше не беспокоила его. Пока он не встал. Труднее всего оказалось подняться. Он никак не мог опуститься на колени у воды, чтобы попить, он стыдился стонов, вырывавшихся из груди, он постанывал и вздыхал и даже стоять не мог, не издавая этих стонов-вздохов.

— Пойдем,— сказала Ирена,— вот сюда.

Она говорила так спокойно и уверенно, что он спросил: — Ты нашла дорогу?

Она не расслышала.

Он вполне мог идти, но часто спотыкался. Лучше всего получалось, когда она шла рядом, помогая ему. Она так хорошо его вела, что он мог бы идти с закрытыми глазами, и однажды взял и закрыл их, но тут же пошатнулся и свалился с тропы, увлекая за собой и девушку, и с тех пор старался глаза не закрывать. Идти здесь было легко. Деревья сами расступались перед ними. Но оказалось, что снова нужно переходить через ручей. Это было невозможно.

— Ты уже переходил,— сказала она.

Да? Наверно, именно поэтому ему теперь было так холодно: он промок. Тогда ничего страшного, если намокнешь снова. Вода обжигала как огонь, темная, быстро бегущая вода, которую он уже никогда больше пить не станет. А вот и плоская скала у знакомого источника, где он — где они оба преклоняли когда-то колени. А вот и кусты бузины, трава без единого цветочка на полянке, место, откуда все тогда начиналось, а теперь пришло к концу; и сосна, и лавровый куст, но между ними не было прохода, не было до тех пор, пока рука Ирены не открыла его. А он все никак не мог переступить порог, и она взяла его за руку и вывела в новый мир.

Она ожидала солнца. Она все время думала, что они выйдут под громадное, горячее солнце, которое все лето стояло в небе. Они переступили порог и попали в ночь, в дождь.

Дождь был частый, крупный. Его звук, звук капель, стучащих по листьям и по земле, был прекрасен, и прекрасен был его аромат. Капли дождя заливали ее лицо как слезы. Но она не могла позволить Хью передохнуть здесь, как рассчитывала раньше, когда они, выбиваясь из сил, стремились к порогу. Нет, на этой промокшей земле отдыхать было никак нельзя, да еще в мокрых джинсах и башмаках, которые они промочили еще тогда, переходя вброд

три речки. Надо было идти дальше. Это было невыносимо, он почти ослеп от боли и жара. Но она не отпускала его руку, и он продолжал идти. Они осторожно выбрались из темного леса, а потом двинулись через заброшенные поля. Слившиеся воедино воздух и земля были пронизаны полосами света от фар автомашин, мчавшихся по шоссе сквозь падающий дождь. Один раз Хью споткнулся, на минуту потерял сознание и когда пришел в себя, тяжело навалился на нее и застонал от боли. Потом взял себя в руки, и они пошли дальше по направлению к грейдеру, к огням, горящим всю ночь у щита фабрики. На совсем крошечном подъеме у самой дороги он рухнул на колени, а потом без единого слова и жеста скользнул вперед, упал ничком на землю и остался лежать так.

Она опустила рядом в мокрую траву, на минуту прижалась к нему. Потом встала и вскарабкалась на обочину шоссе, постояла там, глядя в темноту, где лежал он, хотя видеть его не могла. Всклипывая от жалости, как он всклипывал от боли, она пошла по дороге к ферме.

Позади нее из ворот фабрики вспыхнули автомобильные фары. Она, как кролик, застыла от ужаса на обочине дороги, услышав шум мотора и шуршание шин по гравию.

— Эй! Что-нибудь случилось?

Она знала, что это вполне может с ней случиться — то, чего она так боялась, — но все же повернулась и пошла назад к машине. Ее трясло. Перед ней, освещенное сзади горящими фарами, возникло рыжебородое лицо.

— Мой друг ранен, — сказала она.

— Где? Полежай.

Машина оказалась очень маленькой, а от Хью нечего было ждать помощи, но Рыжебородый, очень решительный человек, каким-то образом умудрился запихнуть Хью на откинутое переднее сиденье, потом засунул сложившуюся пополам, как складной нож, Ирону на заднее и погнал на скорости в восемьдесят миль — и весьма этим наслаждаясь! — в морской госпиталь. Он выскочил из машины

прямо на ступеньку лестницы, ведущей ко входу экстренной помощи, и опять остался очень доволен собой. Как только Хью внесли в приемный покой, блистательная часть действия завершилась, но Рыжебородый все же остался ждать вместе с ней в приемной, принес кофе, печенье, сделал все, что мог бы сделать в подобной ситуации нормальный молодой мужчина, просто хороший человек. В этом не было ничего необычного, но для Ирены пока еще и это казалось не совсем обычным, пока еще... А ведь это королевская честь — называть друг друга «брат», «сестра».

Доктор, который наконец смог поговорить с ней, задал несколько вопросов. Все время до этого Ирена слушала, как Рыжебородый рассказывает, с каким счетом закончился баскетбольный матч, и не приготовила никакой правдоподобной истории.

— Его избили,— сказала она; это было все, что она могла придумать, поняв, что должно же быть какое-то разумное объяснение происшедшему.

— Итак, вы были в лесу? — уточнил врач.

— Путешествовали автостопом.

— Вы заблудились? Как долго вы пробыли в лесу?

— Точно не знаю.

— Я, пожалуй, вас тоже осмотрю.

— Со мной все в порядке. Просто устала. И переволновалась.

— Вы уверены, что не ранены? — резко спросила врач: это была женщина средних лет, с лицом, казавшимся серым в безжалостном свете люминесцентных ламп; она сидела перед Иреной, хотя было уже десять часов вечера, конец Дня труда.

— Я в порядке. Будет совсем хорошо, когда немного посплю. А Хью...

— Вам есть куда пойти?

— Тот человек, что нас подобрал, отвезет меня к матери.

А Хью...

— Я жду результатов рентгена. Он пока останется здесь. Вы подписали?.. да, это. Хорошо.— Она повернулась, чтобы уйти.

Усмиренная властной докторшей и больничной обстановкой, Ирена тоже повернулась и молча направилась к выходу.

Санитар, который принял Хью, выглянул из бокса.— Он просил, чтобы кто-нибудь, если можно, связался с его матерью,— сказал он, увидев Ирену.— Вы это сделаете?

— Да.

— Он вне опасности,— сказала врач.— Идите и хоть немного поспите.

— Они собираются продержат тебя здесь еще денек.

— Знаю,— сказал он, удобно вытянувшись на жесткой и высокой кровати, предпоследней в ряду.— Я все равно чувствую, что пока не в состоянии встать на ноги.

— Но вообще-то ты как? Ничего?

— Вполне. Посмотри, как они меня всего обвязали. Нет, показать не могу, эта одежда на спине распахивается, как-то неприлично. Но я прямо-таки весь обмотан бинтами, как мумия. И не успеешь проснуться, как тебе тут же дают таблетку.

— Из-за того, что ребро сломано?

— Одно сломано, в другом трещина. А ты-то как?

— Я хорошо. Слушай, Хью, они тебя спрашивали, ну, понимаешь, о том, что случилось?

— Я просто сказал, что ничего не помню.

— Это хорошо. Понимаешь, если бы у нас истории получились разные, они могли бы что-то заподозрить.

— Так что же с нами случилось?

— Мы путешествовали автостопом по лесистой местности, и какие-то сволочные парни избили тебя и убежали.

— А что, так и было?

Он видел ее неуверенность.

— Ирена, я действительно все помню.

Она улыбнулась, но опять неуверенно: — Я думала, тебе совсем затуманили мозги этими пилюлями.

— Это тоже немножко есть. Просто все время спать хочется. Мне кажется, что некоторых вещей... Я не знаю, например, как мы добрались до порога. Мы наконец вышли на нужную тропу?

— Ну да. Но к этому времени ты уже почти ничего не соображал.— Она накрыла его руку своей. Оба стеснялись других людей и беспокойно-озабоченной обстановки больничной палаты — полуодетых, с забинтованными головами, с голыми ступнями, торчащими из-под одеяла, мужчин в постелях, спящих или глядящих на них; приходящих и уходящих посетителей; работающих на трех разных программах телевизоров и радиоприемников; и запаха смерти и дезинфекции.

— Тебе сегодня нужно идти на работу?

— Нет. Сегодня все еще понедельник.

— О господи!

— Послушай, Хью.

Он улыбнулся, наблюдая за ней.

— Сегодня утром я заходила к твоей матери.

Минутку помолчав, он спросил каким-то рассеянным тоном: — Она в порядке?

— Когда вчера вечером я позвонила ей, знаешь, она, похоже, не очень хорошо меня поняла. Она все спрашивала, кто я такая, а я сказала, что мы вместе с тобой путешествовали; знаешь, она все спрашивала и спрашивала одно и то же... Она очень расстроилась. Было уже поздно и все такое. Мне не следовало звонить. Поэтому, когда сегодня утром они меня сюда не пустили, я подумала, что мне следует пойти к ней. Похоже, она не поняла, что ты здесь, в госпитале.

Он ничего не говорил.

— Ну и она...

— Она набросилась на тебя,— сказал он с таким не-

вероятным, еле сдерживаемым гневом, что она заторопилась:

— Нет, нет, что ты — только она, похоже, не понимала. Ну я и сказала ей, что тебе нужна кое-какая одежда и еще кое-что. Я думала, что она захочет сама отвезти все тебе, понимаешь? Она ушла и вернулась с чемоданом, он у нее был, по-моему, собран заранее, сейчас он лежит в машине, я его тебе оставляю. Я... Ну, она как бы всучила его мне у самой двери и сказала: «После этого ему нет никакой необходимости возвращаться сюда», и она... она захлопнула... Я ничего не могла сделать, мне оставалось только уйти. Что она имела в виду — «после этого»? Я, должно быть, что-то не то сказала, и она не поняла меня, и я не знаю... не знаю, как все это теперь исправить. Прости, Хью.

— Нет,— сказал он и зажмурился. Потом перевернул руку ладонью вверх и сильно сжал пальцы Ирены.— Все нормально,— сказал он, когда наконец смог говорить.— Это значит, живи где хочешь.

— Но разве она не захочет, чтобы ты вернулся домой? — сказала Ирена с отчаянием и тревогой.

— Нет. Да и я этого не хочу. Я хочу быть с тобой. Я хочу жить с тобой.— Он сел и приблизил к ней лицо.— Я хочу найти квартиру или что-нибудь в этом роде, если ты... у меня в банке есть кое-какие деньги, если этот чертов госпиталь их все не сожрет... если ты...

— Да, хорошо, слушай. Я как раз хотела тебе сказать. После того как я побывала у нее, здесь все еще были неприемные часы, поэтому я поехала на Сорок восьмую улицу. В утренней газете было одно объявление. Знаешь, дом в районе Хилсайд. Условия неплохие: двести двадцать пять в месяц со всеми удобствами. И вправду хорошо — ведь там до центра всего минут десять. Я прямо туда и поехала. Квартира с гаражом. Я так или иначе ее сниму. Уже дала расписку. Я не могу вернуться туда, где жила раньше.

— Ты хочешь, чтобы мы там поселились вместе?

— Если этого хочешь ты. Место очень приятное. И соседи тоже. Они тоже не женаты.

— Мы женаты,— возразил он.

На следующее утро они вышли из больницы вместе. Снова лил дождь, и она была одета в красный потрепанный, покрытый пятнами плащ, а он — в грязную кожаную куртку. Они вместе сели в машину и уехали. По одной из множества дорог, ведущих в город.

Ле Гуин У.

**Л 33 Порог: Роман/Пер. с англ. И. Тогоевой.
Предисл. Вл. Гакова.— М.: Известия,
1989.— 224 с. (Библиотека журнала «Ино-
странный литература»)**

Философская сказка-притча, герои которой, перешагнув невидимый порог, попадают из обыденной суеты большого города в волшебную страну, где взрослеют душой и обретают друг друга, написана Ле Гуин с большим мастерством и поэтичностью.

Л $\frac{4703000000-003}{074(02)-89}$ 63-89

**ББК 84.7 США
И(Амер)**

УРСУЛА ЛЕ ГУИН
ПОРОГ

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *И. Клыкова*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1311

Сдано в набор 19.04.88. Подписано в печать 19.12.88.
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт.
9,4. Уч.-изд. л. 10,36. Тираж 50 000 экз. Зак. № 479.
Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул.
Мира, 93.



Урсула Ле Гуин (р. 1929) — американская писательница, получившая мировое признание прежде всего как фантаст, хотя ею созданы и объемный исторический роман "Малафрена" (1980), и реалистическая повесть "Далеко, далеко отовсюду" (1976), и отмеченная Национальной литературной премией США сказочная трилогия о Земноморье (1968—1972), и поэтический сборник "Дикае ангелы" (1975),

и множество критических статей, эссе, переводов.

Фантастические романы и рассказы Ле Гуин многократно исследовались критикой, особенно такие, как "Левая рука тьмы" (1969) и "Обездоленные" (1974).

На русский язык переведены "Город иллюзий" (1967) и "Слово для "мира" и "леса" одно" (1972).

Предлагаемый читателю роман-сказка "Порог" (1980) знаменует новую вершину творчества Ле Гуин, находясь как бы на стыке ее реалистической и фантастической прозы. Романтическая, пронизанная пафосом подлинного гуманизма, книга эта была очень хорошо принята как читателями, так и критикой. Известный писатель Джон Апдайк сказал про нее: "Это увлекательнейшее повествование и вместе с тем изящно написанная притча. Вымысел г-жи Ле Гуин властно влечет читателя за собой".

Основная мысль романа — переступи порог собственного "я", познай других и свое место среди них, обрети взаимопонимание — лежит в русле общей направленности современной американской прогрессивной литературы. Фантастическое путешествие героев в волшебную страну — обширная, имеющая фольклорно-эпические истоки метафора взросления человеческой души.